

В. В. Бибихин

**ВВЕДЕНИЕ
В ФИЛОСОФИЮ ПРАВА**

**Собрание сочинений
Том II**

Университет Дмитрия Пожарского

Владимир Бибихин

**Собрание сочинений. Том II.
Введение в философию права**

«Русский фонд содействия образованию и науке»

2013

Бибихин В. В.

Собрание сочинений. Том II. Введение в философию права / В. В. Бибихин — «Русский фонд содействия образованию и науке», 2013

ISBN 978-5-91244-032-8

Предмет книги составляет теория государства и права в их исторической конкретности. Ее основные подтемы: критическое прояснение основных понятий права с анализом литературы, статус права в истории России, анализ Правды Русской и других свидетельств раннего правового сознания, базовые системы философии права (Аристотель, Гоббс, Руссо, Гегель). С особенным вниманием к переплетению обычного (неписаного) и законодательно установленного (позитивного) права предложено философское осмысление относительно нового понятия правового пространства. Внесен посильный вклад в прояснение основопонятий норма, обычай, закон, принуждение в его функции устройства правопорядка, правовые процедуры, правосознание, законодательный процесс. Подчеркнуты с одной стороны общие, а с другой – полярно противоположные аспекты порядка и права, силы и права, нормы и закона, обычая и позитивного права. Развернут парадокс «охранения права силой государства» при опоре государственной власти на право.

ISBN 978-5-91244-032-8

© Бибихин В. В., 2013
© Русский фонд содействия
образованию и науке, 2013

Содержание

От составителя	7
Программа лекционного курса	8
I. Общие положения	8
II. Особенности права в России	10
III. Начала государства и права	12
IV. Русская правда	13
V. Государство и право в «политике» Аристотеля (384-322) и у других авторов	14
Вступление. Общие понятия[10]	17
I. Общие положения	29
1. Право, порядок, мораль[42]	29
2. Ближайшие реалии[68]	42
3. Государство-семья	54
4. Ревизор	66
5. Фасад и изнанка	84
Конец ознакомительного фрагмента.	94

В. В. Бибихин
Собрание сочинений. Том II.
Введение в философию права

© В. В. Бибихин, 2013

© О. Е. Лебедева, составитель, 2013

© Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2013

От составителя

Книга «Введение в философию права» возникла на основе лекций, которые В. Бибихин читал в МГУ (2001-2002) и позднее в Институте философии РАН (в измененном примерно на треть виде). Сводная редакция этих курсов должна была образовать впоследствии монографию. Но автор успел лишь начать работу над окончательным вариантом книги. Достаточно упорядоченный и приведенный к единой редакции вид имеет только первый раздел; уже с 8-й лекции начинается «раздвоение», т. е. лекции в МГУ и ИФ РАН существуют в виде *разных* текстов, не сведенных в единое изложение. Поэтому в настоящем издании в отличие от первого сохранен хронологический порядок лекций, при этом лекции в МГУ и ИФ РАН помещены *раздельно*, но их нумерация сохранена. Это позволит читателю самому выбрать порядок чтения. Другая трудность при подготовке этого издания вызвана неполной сохранностью исходных файлов и лакунами в тексте (возникшими видимо при совмещении двух авторских редакций). Лакуны восполнены по аудиозаписям лекционного курса в МГУ, которые сделал, сохранил и оцифровал Константин Чаморовский. Кроме того, в книге появился 4-й раздел (не вошедший в первую публикацию), посвященный базовым системам философии права.

Все данные составителем названия лекций, наши вставки в основной текст и примечания, многоточие в опущенных по формальным соображениям местах стоят в угловых скобках.

О. Е. Лебедева

Программа лекционного курса

I. Общие положения

1. *Право и дисциплина.* Навыки права не естественно врождены, как умение дышать, а приобретаются в обучении, как умение ходить. Как ходить правильно умеют не все, а многие даже не подозревают, что надо учиться ходить хорошо, так и с правом: оно требует школы, дисциплины.

2. *Естественное право.* Человеку естественно ползать, ходить как получится и падать на землю при ранении и при боли, когда бьют. Так же безотчетно естественное право. Естественно, чтобы слабый подчинился сильному, ответить ущербом за ущерб (если ты у меня взял игрушку, я у тебя тоже возьму; если ты мне сломал руку, я тебе тоже сломаю). Естественно не отдавать то, что взял (человек обычно всегда легко и сразу берет деньги, всегда медлит с отдачей, даже когда знает, что отдать неизбежно). Естественно, если человек не возвращает долг, взять его самого и требовать, чтобы он заплатил своим телом. Естественно взять побежденного, сдавшегося в полную зависимость. К естественному праву принадлежит право родителя распоряжаться существом, которое он породил (сын – раб).

3. *Право и норма.* Общественная, государственная жизнь людей имеет цели, смысл, интенцию. Ради концентрации усилий вокруг этих целей вводятся нормы. Право – система общеобязательных норм, охраняемых силой государства.

4. *Писаное и неписаное право.* Не всё в системе права осознаётся, объявляется и записывается. Всегда кроме эксплицитных и писанных норм есть неписанные. Иногда неписанные нормы так важны, что писанные становятся недействительными, ничтожными. Запись права не обязательно говорит о его упрочении.

5. *Право и неправое.* Противоположность права – неправое. Оно имеет три формы, по Гегелю: непреднамеренное беззаконие по незнанию или по нечеткости знания права («незнание закона не оправдание»); обман, обход закона, лукавство и коварство; прямое преступление.

6. *Право и порядок.* Противоположен праву иногда порядок. Правительство Муссолини в Италии повело эффективную борьбу с мафией, неправовыми методами увеличило порядок в стране. Американские военные власти, наоборот, отпустили мафиози, которые сидели в тюрьмах без суда; соблюдение права возросло, порядок в стране уменьшился.

7. *Право и сила.* Если право не имеет силы, сила объявляет себя правом. «Право открыто спору, сила очевидна и бесспорна. И вот не удалось придать силу праву, потому что сила противоречила праву и сказала, что оно неправое, и сказала, что именно она права. Таким образом, поскольку не удалось сделать право сильным, сделали так, чтобы сильное было правым» (Паскаль).

8. *Право и мораль.* Мораль (нравственность) иногда утверждает себя силовыми методами. Требования права иногда выполняются добровольно: «Раскаявшийся преступник может желать понести установленное правопорядком наказание и потому воспринимает его как благо» (Ганс Кельзен). Право основано на этической добродетели справедливости и с этой стороны тождественно морали (нравственности). Разница в том, что право опирается на объявленный закон и не обязано взывать к сознанию, а мораль опирается в основном на совесть.

9. *Право и религия.* Право стремится соответствовать религии. Религия не обязана согласовываться с правом. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти

противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из наказания, но и по совести. Для сего вы и налоги платите, ибо они [власти] Божии служители, сим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное: кому налог, налог; кому пошлину, пошлину; кому страх, страх; кому честь, честь» (Послание к Римлянам 13, 1–7).

10. *Государство и право*. Государство защищает право и опирается на право, которое оно защищает.

11. *Монополия на насилие*. В современности она принадлежит исключительно государству.

12. *Право и принуждение*. Право – единственный возможный способ благополучного существования общества. Граждане должны понимать, что соблюдение закона в конечном счете служит их благу. Но, например, убеждать преступника, что когда он сидит в тюрьме, то и ему и другим людям лучше, не дело права. С другой стороны, нельзя перекладывать оправдание принуждения на тех, кого принуждают. Необходимость и сила права должны ощущаться сами собой. Для этого обычно бывает достаточно, чтобы тот, чьими руками осуществляется законное принуждение, по совести знал, что служит добру. Когда этого убеждения у правоохранительных органов нет, осуществляемое ими принуждение превращается в насилие.

13. *Законодательные процедуры*. Обязательное прохождение нового закона через все предусмотренные конституцией ступени дает время обдумать его, обеспечивает преемственность законодательства и легитимирует (оправдывает) принятый закон.

14. *Презумпция невиновности* требует подробного исполнения всей процедуры судопроизводства до вынесения приговора о виновности.

15. *Закон и право*. Разница между ними в том, что закон, как и порядок, может быть неправом. «Закон может соответствовать (быть правовым), частично соответствовать правовому идеалу [...] Задача законодателя состоит в том, чтобы увеличить объем их совмещения» (С. А. Емельянов. Право: определение понятия. М., 1992, с. 8).

16. *Субъект права*. Физическое лицо, юридическое лицо, коллективный субъект права – образования, подчиненные системе права и меняющиеся с ее изменением.

17. *Вменяемость*. Преступник обычно имеет суженный кругозор, который мешает ему убедиться в своей вине. Как правило, человек вначале искренно отрицает всю свою вину или ее часть. Невменяемость в большей или меньшей мере имеет место во всякой стрессовой ситуации. Одна из главных целей исправительной системы – заставить нарушителя права посмотреть на себя со стороны.

18. *Близость к событию* отнимает способность судить о нем с точки зрения правоправда. Дистанция от события позволяет легче судить о нем. Поэтому судебные органы для выполнения своей функции естественно стремятся дистанцироваться от события, экзистенциально не углубляться в него. Цель свидетеля, наоборот, посвятить следственные и судебные органы во всю жизненную сложность разбираемого события.

II. Особенности права в России

19. *Единовластие*. Тысячелетняя традиция собирания власти, права и авторитета (нравственного, религиозного) в одном лице. Единоличный правитель сам главный источник законов или их толкователь. Единовластие не делится ни с кем своей монополией на принуждение. Независимость права, самостоятельность законодательной и судебной инстанции невозможна. Государство стоит не на правовых отношениях, а на прямых, интимных отношениях жителя с центральным лицом.

20. *Собственность*. Основная, земельная собственность не становится в полном смысле частной. Земля принадлежит единоличному держателю власти, т. е. всем, раздается и отнимается в меру служения центральной власти. «Русская революция не будет против царя и деспотизма, а против поземельной собственности. Она скажет: с меня, с человека, бери и дери что хочешь, а землю оставь всю нам. Самодержавие не мешает, а способствует этому порядку вещей» (*Лев Толстой*, дневниковая запись 13.8.1865).

21. *Средний класс*. Собираение власти в одном центре и текучесть собственности делают возникновение среднего класса трудным. Из книги маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году»: «Здесь [...] богатые – не соотечественники бедным [...] В стране, где нет правосудия, нет и адвокатов; откуда же взяться там среднему классу, который составляет силу любого государства и без которого народ – не более чем стадо, водимое дрессированными сторожевыми псами? [...] Всякому обществу, где не существует среднего класса, следовало бы запретить роскошь, ибо единственное, что оправдывает и извиняет благополучие высшего сословия, – это выгода, которую в странах, устроенных разумным образом, извлекают из тщеславия богачей труженики третьего сословия».

22. *Стабильность закона*. При высоком требовании к праву (оно должно отвечать божественной правде) устанавливается убеждение, что эта высокая справедливость невозможна. Массовое неверие в закон вызывает его инфляцию и частую смену. «В России деспотическая тирания есть непрерывная революция (*révolution permanente*)» (Кюстин).

23. *Борьба за право*. «В праве человек обладает и защищает условие своего нравственного существования; без права он нисходит до степени животного. Поэтому утверждение права есть долг нравственного самосохранения, полный же отказ от него, ныне, правда, немислимый, но некогда вполне возможный – будет нравственным самоубийством» (*Рудольф фон Иеринг*. *Борьба за право*. СПб, 1895, с. 17 сл.). «[...] Борьба за право или права [...] никак не проявляется в деятельности Московского государства. Всё построено на идее ответственности, обязанности лица отдавать все силы для пользы государства и нести соответствующие повинности и обязанности» (*А. М. Величко*. *Государственные идеалы России и Запада. Параллели правовых культур*. СПб., 1999. с. 156 сл.).

24. *Работающее и номинальное право*. Подчеркнуто гуманный, слишком идеальный закон перестает исполняться и ему надо предпочесть отсутствие закона. «Нередко получается так, что положения Конституции как бы утрачивают свойства правовых норм и становятся нормами-декларациями, нормами-ориентирами» (*Б. Н. Топорнин*. *Сильное государство – объективная потребность времени // Вопр. философии 2001, № 7, с. 3*). Слишком большое количество законов приближает «тот порог, переход через который делает это количество необозримым для применения и бесконтрольным для законодателя» (*А. В. Мицкевич*. *Свод законов России – научная необходимость // Журн. рос. права 1977, № 2, с. 4*).

25. *Крепостное право*. Рядом с показным недейственным законом и независимо от него начинают действовать негласные и полугласные нормы, жестко фиксирующие сложившееся положение вещей. Например, в конце XVI – начале XVII вв. закрепощение крестьян произошло без государственных законов или указов. Крестьяне оказались навсегда прикреп-

лены к той земле, на которой они сидели больше десяти лет или на которой их застала всеобщая перепись 1592 г. Распространенное на Западе мнение о размытости, нечеткости закона в нашей стране не учитывает строгости подзаконных актов, ведомственных распоряжений, внутренних инструкций и распоряжений органов государственного управления, а также просто давно установившихся порядков, которые не нуждаются в законодательном закреплении.

III. Начала государства и права

26. *Jus publicum u jus civile*. В древнейших памятниках Рима мы встречаем Рим сформированным правовым государством. Он живет по строгим законам, которые делятся на *jus publicum*, публичное право, определяющее государственное устройство страны и отношения между государством и гражданами, и *jus civile*, гражданское право, нормирующее поведение частных лиц. Черты римского права – «точность и ясность определений, строгая логичность и последовательность юридической мысли, сочетаемая с жизненностью выводов» (В. Г. Графский. Всеобщая история права и государства. М., 2000. с. 175).

27. *Жреческая юриспруденция древнего Рима*. Одни и те же должностные лица, одновременно жрецы и правоведы, следили за исполнением законов как в отношениях между людьми и богами, так и между людьми.

28. *Законы XII таблиц*. Первым сводом законов были XII таблиц из нержавеющей металла, выставленные для всеобщего обозрения на римском форуме в 449 г. до н. э. Против двух крайностей, полной монополии государства на насилие и права сильного, кулачного права (*jus in manibus*), римское право возвышает суд как самостоятельную беспристрастную божественную инстанцию, которая одна только может уполномочить самого гражданина на применение силы в отношении другого.

29. *Римское право поощряло* экономическую состоятельность, свободу, не поощряло жалобщиков, слабосильных, несвободных.

30. *Судебный процесс*, гражданский или уголовный, был ритуалом, где были важны одежда, поза, символические действия, дикция – отчетливое произнесение строго определенных формул, при ошибке в которых решение суда не считалось действительным. Долгое время нормой считалось устное судопроизводство из опасения, что в письменном документе менее видно лицо гражданина и более возможна нечестность, недобросовестность, обман.

31. *Сложная правовая теория и практика* царского (до 509 г. до н. э.) и республиканского Рима не была отменена принципатом (империей), но постепенно разрушалась единоличной властью, когда поверх законов император лично диктовал свои конституции. Практически перестало действовать публичное право, *jus civile*.

32. *Основные понятия* собственности, договора, преступления в римском праве были оставлены без определения как всем понятные, чтобы избежать их злостного перетолкования.

33. *Византия переняла* вместе с государственной системой римское право. Однако оно постепенно переставало в Восточной римской империи быть общеобязательной нормой жизни и становилось одним из инструментов единовластного правления.

34. *Римское право приспособилось* к византийским условиям и постепенно переводилось на греческий язык с первоначальной латыни в ходе издания сводов законов при Феодосии II (правил с 408 по 450 г.), Юстиниане (середина V в.), при Льве VI Философе (правил с 886 по 912 г.).

35. *Вместе с христианством* Русь приняла византийскую культуру, в том числе правовую, в церковной обработке.

IV. Русская правда

36. До окончательного государственного принятия христианства при князе Владимире ранние князья Руси, Рюрик, Олег, Игорь, Ольга и Святослав, уже создали успешное военно-административное образование в опоре на дружину варяжского (норманского) строя.

37. Русская Правда, правовой документ XI–XII вв. (с более ранними элементами), показывает жесткое устройство общества, главным элементом которого был муж, свободный человек, вместе с князем под его руководством несший тяготы войны и администрирования.

38. Русская Правда ничего не говорит о порядке избрания князя или наследования. Показывая развитую систему суда, она ничего не говорит о порядке назначения судьи, которым является в конечном счете князь.

39. Подобно раннему римскому праву, Русская Правда уважает достоинство свободного человека, вооруженного и имеющего под своей опекой семью и челядь. Государство держится на способности мужа в дружине с другими под водительством князя противостоять любой другой военной силе почти на всей территории Востока Европы.

V. Государство и право в «политике» Аристотеля (384-322) и у других авторов

40. В Риме была создана форма права на все времена, при том что материально римские законы не имеют ничего совершенно исключительного в сравнении с другими народами. Аналогичным образом классическая греческая философия, т. е. прежде всего Платон и Аристотель, выдается вовсе не набором взглядов, которые можно встретить у кого угодно, – или, еще точнее сказать, у них набор *всех* взглядов, в том числе противоположных, как Аверинцев сказал, что мысль Платона это шар, где для всякого полюса есть противоположный, – а умением ставить главные вопросы.

41. Аристотель определяет: Если у того, что мы делаем, есть цель [...] то ясно, что цель эта есть хорошее в смысле лучшее (ἀρίστον) [...] По-видимому, оно дело главного и верховного строительного знания или умения, а им является политика (πολιτική). Она распределяет, какие в государствах нужны знания и какие и насколько каждый должен изучать.¹

42. «Собирающиеся по-настоящему слушать лекции о прекрасном и справедливом и вообще о политике должны быть прекрасно воспитаны (#χθαί, доведены, пригнаны) в отношении нравов».²

К гражданской жизни призваны не все. Большинство людей не пойдет дальше искания удовольствий и потребления, пользования (απόλαυσις³). Это один из трех основных образов жизни. Второй образ жизни, политический, ведут немногие. Третий, теоретический, это дело единиц.

43. Безотносительное добро и добро для меня. Люди первого образа жизни, большинство, хотят удачи в том хорошем, что всегда и для всех безотносительно хорошо. Например здоровье и богатство безотносительно и всегда хорошо. Люди естественно хотят здоровья и богатства и добиваются их. То, что хорошо всегда и безусловно, должно быть вроде бы хорошо и для меня. Кто-то здоров и богат, ему хорошо, и кажется логичным рассуждение, что если я буду здоров и богат, мне тоже будет хорошо. Но это не обязательно.

44. Поскольку справедливость, главное достоинство человека, направлена на других, то проверить его можно поставив в положение, когда от него станут зависеть другие. В старом изречении «человека власть покажет»⁴. Невозможна несправедливость в отношении богов; они в любом случае имеют всё и владеют всем, отнять у них что-то невозможно. И в отношении неизлечимо плохих (#νιάτοις како#ς⁵) невозможно быть ни справедливым ни несправедливым. Справедливость это всегда добро, но таким оно не идет на пользу. Неправо в отношении их, отнимая у них добро, которое их портит, несправедливостью быть перестает, но справедливостью не становится.

45. Человек политическое живое существо. Пчела, хотя она и умирает вне улья, одна остается, умирающая, целой пчелой. Человек, в отличие от этого, когда оказывается один, пусть даже и не умирает, но целым считаться не может. К его природе принадлежит речь, и таким образом в обществе человек не просто живет, а *только и осуществляется как человек*. Без роя и улья пчела, хоть и не жила бы, но была бы уже готовая пчела, а человек без общества еще не готов, в важном – решающем – смысле его вне государства просто *нет как такого существа*.

¹ Аристотель. Этика Никомахова I, 1094a 18–1094b 2.

² Аристотель. Этика Никомахова I, 1095b 4-6.

³ Аристотель. Этика Никомахова I, 1095b 17.

⁴ Этика Никомахова V, 1130a 1.

⁵ 1137a 29.

46. У Аристотеля существование государства оправдано только высшей целью, которое оно себе ставит. «Общность из нескольких селений – совершенный полис, уже имеющий, так сказать, высшую степень самодостаточности, возникший ради [потребностей] жизни, но существующий ради хорошей жизни, εἰς ζῆν»⁶. Речь не о безотносительных благах вообще, а об осуществлении природы человека, что возможно в общении граждан при свободе слова.

47. Семья у Аристотеля кирпичик общества. Из семей складываются селения и государства. В семье есть все отношения между людьми, которые будут и в политике. В семье, образованной свободными людьми, муж и жена равные. Как государство упорядочивает жизнь местных и пришлых, так глава семьи берет на себя ответственность за тех неродных, кто не создал себе самостоятельной биографии. В настоящей семье равенство мужа и жены в сущности то же самое что равенство граждан полиса. Наконец, по доброму согласию мужу дается *отеческая царская* власть.

48. В известной надгробной речи (ок. 430 до н. э.) Перикл гордится величию Афин. «Радуясь величию нашего города, не забывайте, что его создали доблестные, вдохновленные чувством чести люди, которые знали, что такое долг, и выполняли его [...] принесли в жертву родине прекраснейший дар – собственную жизнь. Отдавая жизнь за родину, они обрели себе непреходящую славу и самую почетную гробницу не только здесь [...] ведь гробница доблестных – вся земля». Свободное государство хотело, чтобы мужественный поступок, не только на войне, «не исчез из реальности этого мира»⁷, и умело достиг этого. Как римское право, так греческое политическое искусство, политическая философия до сего дня остается базой нашей социальной мысли.

49. Аристотель ожидает, что собственность со временем станет общей благодаря дружбе (филии). «Лучше, чтобы собственность была частной, а пользование ею – общим. Подготовить же к этому граждан – дело законодателя. Трудно выразить словами, сколько наслаждения в сознании того, что нечто принадлежит тебе, ведь свойственное каждому чувство любви к самому себе не случайно, но внедрено в нас самой природой. [...] Как приятно оказывать услуги и помощь друзьями, знакомым или товарищам! Это возможно однако только при существовании своего собственного. У тех, кто стремится сделать государство чем-то слишком единым, уничтожается возможность [...] благородной щедрости по отношению к своему собственному; при общности имущества для благородной щедрости, очевидно, не будет места»⁸. Сравнить принцип свободы собственности в «Философии права» Гегеля.

50. Отличительным признаком политики оказывается таким образом *способность сделать граждан хорошими и справедливыми, ποιῆν ἡγαθοῦς καὶ δίκαιους τοῦς πολίτας*⁹. Когда государство такой цели перед собой не ставит, оно соскальзывает от настоящей политики к такому союзу по интересам, например для коллективной защиты от пиратов. Устройству и обустройству коллектива могут служить разные общества и союзы. По аристотелевским меркам многие черты, которые сегодня считаются принадлежащими государству, были бы отнесены к договорным отношениям.

51. В государстве Томас Гоббс (1588-1679) видит взаимный договор, в который вступает каждый член общества. «Пока люди живут без общей власти, держащей всех их в страхе, они находятся в том состоянии, которое называется войной, и именно в состоянии войны всех против всех» (Левиафан, гл. XIII). Государство отождествляется с культурой.

⁶ 1252b 27-30.

⁷ 1252b 27-30. с. 262.

⁸ 1263a 34-1263b 12.

⁹ 1280b 12.

Без него «нет места для трудолюбия, так как никому не гарантированы плоды его труда, и потому нет земледелия, судоходства, морской торговли, удобных зданий, нет средств движения и передвижения вещей, требующих большой силы, нет знания земной поверхности, исчисления времени, ремесла, литературы, нет общества, а что всего хуже, есть вечный страх и постоянная опасность насильственной смерти, и жизнь человека одинока, бедна, беспросветна, тупа и кратковременна». «Состояние войны всех против всех характеризуется также тем, что при нем ничто не может быть несправедливым. Понятия *правильного* и *неправильного*, *справедливого* и *несправедливого* не имеют здесь места» (там же).

52. По Гоббсу, человеку естественны также справедливость, скромность, милосердие, поступание так, как мы хотели бы чтобы поступали с нами. Добрым чертам противоположны страсти гордости, мести. Сила нужна не чтобы навязать чуждое, а чтобы среди естественного, как на поле, выполоть сорняки и сохранить важное. «Соглашения без меча лишь слова, которые не в силах гарантировать человеку безопасность» (Левиафан, гл. XVII).

53. Для возникновения государства по Гоббсу надо, «чтобы каждый подчинил свою волю и суждение воле и суждению носителя общего лица. Это больше чем согласие или единодушие. Это реальное единство [...] как если бы каждый человек сказал каждому другому: *я уполномочиваю этого человека или это собрание лиц и передаю ему мое право управлять собой при том условии, что ты таким же образом передашь ему свое право и санкционируешь все его действия*. Если это совершилось, то множество людей, объединенное таким образом в одном лице, называется государством, по-латыни – *civitas*. Таково рождение того великого Левиафана, или, вернее (выражаясь более почтительно), того *смертного бога*, которому мы под владичеством *бессмертного Бога* обязаны своим миром и своей защитой» (Левиафан, гл. XVII).

54. Определение суверена и подданного по Гоббсу. «Государство есть *единое лицо*, ответственным за действия которого сделало себя путем *взаимного договора* между собой огромное множество людей, с тем чтобы это лицо могло использовать силу и средства всех их так, как сочтет необходимым для их мира и общей защиты».

Тот, кто является носителем этого лица, называется *сувереном*, и о нем говорят, что он обладает *верховой властью*, а всякий другой является его *подданным*».

55. Жан-Жак Руссо (1712–1778) в своей книге «Об общественном договоре, или Принципы политического права» (1762) строит государство, или «политическое тело», на принципах добровольного согласия граждан, продолжая таким образом аристотелевскую мысль о цели государства как дружественном общении в целях блага и красоты.

56. Критика Аристотеля у Руссо: хотя и верно, что одни люди рабы, а другие господа, однако неверно, что причиной является человеческая природа, у одних рабская, у других свободная. Аристотель путает следствие с причиной.

57. Критика современного состояния общества у Руссо. Хотя в античности существовало рабство, но по крайней мере некоторые люди были свободными. Современная отмена рабства привела к тому, что несвободны все.

58. Через «общественный договор» гражданин вручает суверену свою личность, свои способности, свое имущество. Кто такой суверен в «Общественном договоре» Руссо?

59. Отличие «воли всех» от «всеобщей воли» по Руссо. Можно ли от воли всех перейти к всеобщей воле, и если да, то как?

60. Гражданская религия и христианское спасение в «Общественном договоре» Руссо.

Вступление. Общие понятия¹⁰

Вступление в область права на нашем Востоке и в наше время может показаться необязательным. Вместе с тем если человек, как вокруг нас обычно бывает, впервые встречается с правом при столкновении интересов для разрешения конфликта, здесь можно уже видеть признак неблагополучия. Есть важные причины осмыслить право раньше конфликта. Оно существенная или главная черта всякой устойчивой жизни человека и других живых существ.

По разным причинам, о которых будет сказано подробнее, государство, выставляя правовые требования, не спешит просветить подданных в правовом отношении. Государство и его юриспруденция, кроме того, способны только преподать право как факт, но не обосновать его. Это задача философская. Философы, со своей стороны, развертывая основания права, не в первую <очередь> обслуживают юридическую профессию. Они строят онтологию права как этику в широком смысле, включающем иногда также этологию.

Что столкновение интересов не главная ситуация, в которой мы встречаемся или должны встречаться с правом, видно по тому, что можно вполне пройти через конфликт – правильно или неправильно, успешно или неуспешно, – не вспомнив и не подумав о праве. Вступление в правовую область требует решения, которое может быть принято или не принято, и поступка. Поступок может иметь, конечно, негативные, несобственные, превращенные формы отказа, ухода, уклонения от решения; в ходу изощренная техника манипулирования существующими законами. Деловая цель этого курса заключается в том, чтобы показать необходимость и естественность раннего вступления в пространство права. Такой шаг не имеет ничего общего ни с так называемым «качанием прав», т. е. занудливым крючкотворством человека, для которого право по существу остается чужим, ни с «защитой прав человека и гражданина», которая дублирует функции государственных органов. Согласно нашей Конституции (Grundgesetz, Основному закону).

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства¹¹.

Если эту обязанность берет на себя общественная организация, она объявляет тем самым своё государство неправовым. Задачей в таком случае должно быть не отстаивание отдельных прав, при общем беспорядке бесперспективное, а изменение характера государства.

В практически всякой без исключения конфликтной ситуации при наблюдаемом состоянии нашего общества будет тенденция, более или менее заметное желание или искушение не вступать в область права, суда, судопроизводства и договориться по душам. Нежелание говорить формальным языком воспринимается как более естественное и человеческое. Оно статистически более часто, чем приглашение к правовым отношениям, что кажется менее человеческим. Непростота перехода к правовым процедурам выражается в частности в том, что они в наше время как правило письменные. Производится серия малоестественных действий, должностные лица достают бланки протокола, акта. Действия фиксации, записи на бумагу или в машину отмечают переступание некоего порога и вхождение в особый режим отношений. Перед порогом предпринимается последняя попытка нарочито неформальными

¹⁰ <Вводная лекция и лекции 1-го раздела читались в МГУ в сентябре-октябре 2001 и в ИФ РАН в феврале – апреле 2002>.

¹¹ Конституция Российской Федерации. Раздел первый. Глава 1. Основа конституционного строя. Статья 2.

средствами, т. е. например скорее намеком чем *expressis verbis*, удержаться на своих, семейных, неофициальных устоях. Что это за устои, будет один из наших вопросов. Совпадают ли они с так называемым обычным правом? В порядке опережения надо ответить на такой вопрос отрицательно.

Еще один пример уклонения от вступления в правовое поле дает известное во всем мире нежелание выступить свидетелем на суде. Эта и другие отрицательные реакции в условиях, когда требуется вступить в область права, служат признаком распада общества, его рыхлости, сминания, коллапса.

Трудный порог, о котором мы говорим, располагается не между законопослушным и криминальным миром, не между легальной и теневой экономикой. Внутри слоя, к которому с официальной точки зрения принадлежат нарушители закона, граница между его своеобразным правом и бесформенностью проходит пожалуй резче чем среди законопослушных граждан. На криминальном срезе общества отчетливо видна разница между беспринципностью стихийных нарушителей и жесткими правилами воров в законе. Хотя их закон большей частью неписаный, уклонения от принятого в их среде кодекса отношений караются наказанием. Уклонения от выхода в область своего воровского закона воспринимаются как недостойность. Следование неписаному праву часто предпочитается в такой среде рыхлым неформальным отношениям.

Объясняя эффективность ранней греческой политики, особенно успех греческой колонизации Средиземноморья, Мераб Константинович Мамардашвили сближал настроение тогдашних создателей полисов с духарством уголовников. Главным законом в обоих случаях является по Мамардашвили оценка личного достоинства, принципа, ритуального жеста, знакового поступка дороже жизни.

Уголовники отступали только в одном случае: когда они чувствовали, что из-за пустяка человек был готов положить жизнь. Если чувствуется, что ты выкладываешься на всю катушку, то это – работает. И греки обладали этим ощущением в высшей степени. Посмотрите, какая у них была жизнь – полная превратностей. Ведь они основывали свои так называемые колонии черт знает где и – на чем? Максимум тысяча (пятьсот) человек живут где-нибудь, окруженные совершенно чужим морем, которое в любую минуту может их снести. Уникальный феномен греческого полиса исчез, очевидно, когда исчезла вот эта «духарская выкладка»: не откладывать дела на завтра, потому что не имеют никакого значения любые сокровища, которые я из себя могу извлечь, если останусь живым¹².

Принцип в таком настроении (пафосе, говорит Мамардашвили) выше привязанности (привычки) к дыханию и сердцебиению. Принцип должен быть безусловно защищен любой ценой всегда и в первую очередь.

Если ты добр, справедлив и хорош, если так о себе думаешь, то сумей отстоять себя в драке. Если злые господствуют, то они господствуют в силу трусости своих подданных¹³.

Это настроение способен вынести не каждый.

Положить жизнь действительно трудно, потому что вроде бы речь идет о пустяке: ну дали тебе пощечину или еще что-нибудь сделали. Какое, кажется, это имеет значение по сравнению с той книгой, которую ты можешь

¹² Мераб Мамардашвили. Лекции по античной философии. М., 1997, с. 294 сл.

¹³ Мераб Мамардашвили. Лекции по античной философии. М., 1997, с. 295 сл.

написать, или с теми качествами, которые непременно проявятся завтра или послезавтра¹⁴.

Решение о выходе в сферу принципа, которую Мамардашвили называет собственно политикой, или демократией, должно быть однако принято. Встать на принцип должно быть естественнее, чем забота о еде и целостности тела.

Это не сфера, в которую гражданин вовлекается или не вовлекается случайным или не случайным образом, не нечто, что ему выпадает, а обязанность, которую он должен выполнять или экзерцировать. Политика есть обязанность свободного гражданина полиса¹⁵.

Он обязан жить по нормам права. Политическая культура есть культ формально отчетливого, следующего принципам поступка.

Полное присутствие или участие в окружающем; здесь, сейчас, в этом мире – сделай что-то, а не уходи в леса, не уходи в отшельничество¹⁶.

Такая культура акта делает менее высоким порог между записываемым и нет. Судебный процесс мог совершаться без ведения протокола, договор устный некогда ценился как письменный. В практике римского права письменный договор был признан неохотно, поздно и лишь по примеру греческого образца. В судопроизводстве, *iuris-dictio*, едва ли не решающей была роль дикции, отчетливого громкого произнесения, например, формулы отпущения раба, когда пропуск или недолжное произнесение отдельных пунктов делало акт недействительным, или формулы взятия в супруги (брак без оформления таковым не считался). «Запись» устного договора совершалась во внимательном запоминании присутствующими. Дикция была важна также при выклипании свидетеля и т. д.

Здесь мы имеем одно из явлений, прослеживаемых одинаково этикой и этологией. Во внечеловеческом мире есть то же различие между смазанным биологическим существованием, например у вымирающих даже при благоприятных условиях видов обезьян, и отчетливой формалистикой поведения у здоровых видов, которые с изменением среды вымирают потому, что хранение ритуала, правила, нормы, служение родовому принципу предпочитают приспособлению. Как отдельные особи, так общества и виды одни естественно и рано выходят в пространство права, другие охотнее и привычнее остаются вне его.

Существует важное старое различие, имеющее далекие последствия. Оно обозначалось разными терминами. Противопоставляются писаное и неписаное, гласное и негласное, уставное и неуставное, позитивное (в смысле *положения*, нормативного акта, установленной нормы) и естественное (природное) право, поступание по закону и по понятиям. По-русски «уставное» – то же что позитивное, положенное. Хорошая сторона выражения «неуставные отношения» в том, что одно из значений первого из этих слов с очень давнего времени существует в русском языке: то, что в принципе не может быть определено, не поддается определению: *Пучина естъства неизведома и неуставъна*. Старое имя для неуставного права – *mores*. У Радищева различается традиционная пара, нравы и закон, под которым подразумевается позитивное право.

Право не только не обязательно записано в конституции, оно в большей своей части не записано и не может быть записано нигде, оставаясь «неуставным» в смысле принципиальной неопределимости, но оттого не менее, а может быть более действенным. Надо одно-

¹⁴ Мераб Мамардашвили. Лекции по античной философии. М., 1997, с. 294.

¹⁵ Мераб Мамардашвили. Лекции по античной философии. М., 1997, с. 300 сл.

¹⁶ Мераб Мамардашвили. Лекции по античной философии. М., 1997, с. 301.

временно понимать, насколько позитивное право и неуставное право различны и насколько они переплетены. В справочнике читаем:

Нет двух отношений – правового и фактического. Есть одно общественное отношение, именуемое правовым, ибо оно – единство непосредственного содержания (реального поведения участников) и формы, т. е. тех границ, в которых оно может реализоваться¹⁷.

Неправое, преступное поведение тоже относится к праву. Вне права, как позитивного, так и неуставного, остается только размытый образ жизни в той мере, в какой он не имеет формы. Это очень редкий или вообще воображаемый случай.

Имеет смысл такое определение права:

[...] Система общеобязательных социальных норм, охраняемых силой государства.

С помощью права социальные силы, держащие в руках государственную власть, регулируют поведение людей [...]¹⁸

С другой стороны, охраняя всей своей силой право и, казалось бы, диктуя такое право, какое ему удобно, государство само опирается на силу права, причем не только законодательно закрепленного, но – это очень важно заметить – большей частью, возможно, на силу именно неписаного, неуставного права. При революционной смене государства снижается до нуля роль писаного права (старое полностью подлежит замене, новое еще не упрочилось или непонятно) и основным становится неписаное право, причем вовсе не так, что неписаное право записывается; оно скорее наоборот уходит в темноту. Всякое восстание против писаного права закрепляет статус неписаного. В этом отношении поведение государства принципиально не отличается от образа действий отдельного гражданина, который тоже стоит в основном на почве неписаного права, держась конечно и установленного.

Охраняя право, государство таким образом одновременно охраняется им. Государство и право имеют поэтому тенденцию сливаться. Государство хочет быть единственным монопольным представителем права, причем остается неопределенным, то ли государство существует при праве как его воплощение в жизнь, то ли наоборот право является при государстве его органом. Здесь обнаруживаются такие почвенные проблемы, которые требуют большой работы мысли. Идет ли изменение правовой системы параллельно изменению государства? Мы не готовы думать, что государство во Франции после 1789 года или в России после 1917 и после 1991 года осталось то же самое, но, конечно, не готовы и говорить что оно стало совершенно другим. Разумеется, право в той мере, как оно охраняется государством, после революции изменилось, но что стало другим неуставное, неписаное право, в своей сути неопределимое и тем незаметнее определяющее поведение людей, такое сказать нельзя.

Всякое определение права хромает. Например, в вышеприведенную дефиницию права как системы общеобязательных социальных норм, охраняемых силой государства, надо внести поправки. *Общеобязательных* лучше заменить на *обязательных*, потому что есть частные права. Термину *обязательные* надо придать смысл *обязывающие*, исключив смысл *общеизвестные*, потому что мы следуем многим нормам естественного права, которые нигде не записаны и которые мы мало признаём (...), например естественное право сильного.

Государство в новоевропейском понимании есть некий истеблишмент, *lo stato*. Он ведет себя как большое предприятие. Не обманывает впечатление, и само государство способствует такому взгляду, что роль государства делается всё больше. С той же точки зрения

¹⁷ Юридический энциклопедический словарь (ЮЭС). М., 1984, с. 278.

¹⁸ Юридический энциклопедический словарь (ЮЭС). М., 1984, с. 272.

кажется, что «путем соглашений между государствами»¹⁹ создается международное право. С другой стороны, в отношении новейшего времени верно говорят о «новой непрозрачности»²⁰ об энергичности внегосударственных агентов, так называемых non-state actors, к которым относятся например транснациональные корпорации и конечно интернет²¹ Всего естественнее закрывать глаза на то, что трудно установить и учесть. Удобно считать, что невидимого мало или вообще нет.

Но эпоха изменилась, и это изменение трудно ухватить как раз из-за этой «остаточной» государственности нашей оптики²²

Марксистская теория права ожидала, что отмирание государства «повлечет за собой и отмирание права»²³ а точнее, его преобразование «в систему социальных правил». Право, определявшееся тоже как «система социальных норм», отличалось от этих последних применением силы охранявшего их государства. В понимании связи права с силой заключалась реалистическая сторона марксизма. Право не существует отдельно от государства. На практике марксистское государство ввиду утопического характера своей идеологии не могло существовать по принципам того права, которое оно само формулировало. Попытка перестроиться в согласии с ним привела к срыву и смене идеологии.

Государство и право сущностно связаны. Нет права без силы, которая может его осуществить. Право, не способное наперекор всем человеческим и природным препятствиям отстоять себя, есть бесправие. В конечном счете право может быть обеспечено только мощью суверенного государства или независимого объединения государств. Нерасплетаемость права и силы соблазняет упростить задачу, уступив праву силы или доверившись неподкрепленной силе права.

Обычное, естественное, имплицитное право иногда связывают с догосударственным состоянием общества. В наше время такое право действует помимо государственных силовых структур. Не вся сила однако сосредоточивается в руках армии, полиции и финансовых органов. Обычное право поддерживается силой нравственного осуждения, общественного мнения, необходимостью конформизма (власть *людей*, которые *так не делают* или *все так делают*). Так же, как обычное право погружено в непросвеченную жизненную почву, есть способы принуждения, которые трудно определить и даже уловить, но которые не менее эффективны, а иногда более эффективны чем приемы полицейского контроля.

Позитивное (уставное, в наше время писаное) право узаконивается всегда на основе ранее существовавших норм. Почва для него всякий раз оказывается уже существующей. Например, ликвидация частной собственности на средства производства, которая в семидесятилетие марксистской власти была исходным принципом права²⁴ имела за собой традицию общинного пользования землей с переделом. Законы, поощряющие теперь крупную частную собственность после десятилетий ее ликвидации, опирались на естественное право. Широта понятия права мешает его дефиниции. Сто лет назад русский юрист Лев Иосифович Петражицкий (1867–1931), в 1918 эмигрировавший в Польшу и включившийся там в создание новой психологической школы права, подводил итог:

¹⁹ Юридический энциклопедический словарь (ЮЭС). М., 1984, с. 272.

²⁰ *Михаил Маяцкий*. Новая непрозрачность в эпоху перехода от мирной к военной экономике // Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 54 (2001), S. 413–425.

²¹ *Jessica Mathews*. Power Shift // Foreign Affairs 76,1. 1997, p. 50–66.

²² *Михаил Маяцкий*. Новая непрозрачность..., с. 414.

²³ ЮЭС..., с. 273.

²⁴ «Основные, исходные принципы социалистич. права: ликвидация частной собственности на средства производства, эксплуатации человека человеком и др. форм нетрудового обогащения; последовательная охрана общественной социалистич. собственности как основы социалистич. системы х-ва [...]» (там же, с. 273).

Гениальный философ Кант смеялся над современной ему юриспруденцией, что она еще не сумела определить, что такое право. Он сам работал над решением этой проблемы и полагал, что ему удалось ее решить. После него работали над этой проблемой многие другие выдающиеся мыслители, философы и юристы, но – и теперь еще юристы ищут определения для своего понятия права²⁵

Современный правовед подтверждает:

К сожалению, подобное заявление можно с полным основанием сделать и сегодня²⁶

Увязание в понятии права – только безобидный признак порога, который приходится переходить, принимая решение поступать правовым образом. Невидимое и неуставное право, как уже говорилось, требует такого же отчетливого решения поступать по нему, как и по писаному уставному праву. Для находящихся в правовой тени принципиальный шаг вступления в правовое пространство серьезнее, чем так называемый выход из тени на свет, сам по себе еще не гарантирующий настоящей легализации. Размытое различие между писанным и неписанным законом само по себе не представляет большой проблемы и оказывается необходимым следствием напряженности на требующей решения границе между правом и неправом. Здесь обязателен поступок, на который человек может вообще никогда не пойти. Вынужденное следование норме ничего не меняет. Хотя тело преступника силой вталкивают в правовое пространство, он лично не обязательно вступает в него. Участие волевого решения необходимо. Теоретик права Ганс Кельзен (1881–1973), в 1919–1929 гг. профессор права в Вене, затем в Кельне, с 1933 г. в Женеве, с 1942 г. в Беркли (США), не считал возможным для постороннего наблюдателя оценить степень правовой вовлеченности того или иного поведения.

Суждение, согласно которому совершенный в пространстве и времени акт человеческого поведения есть правовой (или противоправный) акт, представляет собой результат некоего специфического – а именно нормативного – толкования²⁷

Решение воли настолько важно, что поведение, отвечающее норме права, еще не будет правовым, т. е. не войдет в правовое пространство, пока не будет *истолковано* как правовое. Например водитель, остановившийся на жест милиционера из страха наказания, не имеет ничего общего с правом. Правовой поступок совершает только тот, кто считает своим долгом подчиняться без расчетов распоряжению хранителя порядка.

Сущее поведение не тождественно должному поведению: сущее поведение равнозначно должному поведению во всём, кроме того обстоятельства, что одно есть, а другое должно быть, т. е. кроме модуса. Поэтому следует отличать поведение, предусмотренное нормой как должное, от соответствующего норме фактического поведения [...] Поведение, предусмотренное нормой как должное, т. е. как содержание

²⁵ Л. И. Петражицкий. Введение в изучение права и нравственности. (Эмоциональная психология). СПб., 1905, с. 19. Цит. по: С. А. Емельянов. Право: определение понятия. М., 1992, с. 3.

²⁶ Л. И. Петражицкий. Введение в изучение права и нравственности. (Эмоциональная психология). СПб., 1905, с. 19. Цит. по: С. А. Емельянов. Право: определение понятия. М., 1992, с. 3.

²⁷ H. Kelsen. Reine Rechtslehre. Vollständig neu bearbeitete und erweiterte Aufl. age. Wien, 1960. Цит. по: Чистое учение о праве Ганса Кельзена. Сборник переводов. Выпуск 1. М.: ИНИОН, 1987, с. 10.

нормы, не может быть просто фактическим поведением, отвечающим норме²⁸

Правовое поведение по Гансу Кельзену происходит в модусе долженствования (*sollen*). Долженствование понимается настолько широко, что включает *можно и имею право*, означая, что я в каком-то смысле *обязан* делать то, на что мне даны права, поскольку обязан вступить в пространство права²⁹. Теорию права Кельзена называют нормативизмом. отождествляя право и норму, он пишет:

Понятие «норма» подразумевает, что нечто *должно* быть или совершаться и, особенно, что человек *должен* действовать (вести себя) определенным образом³⁰.

Мы имели бы здесь достаточное определение права, если бы не некоторая сложность. Нигилист в принципе не признает норму. Не только то, что требуется нормой, стоит под знаком долженствования, но и сама норма тоже есть нечто *должное*. Нашему нормативному поведению предшествует добросовестная обязанность следовать ей. Долг не должен быть для нас предметом обсуждения. Должное таким образом не столько предписывается нормой, сколько предшествует ей. Норма, диктуя нам образ поведения, прежде того должна быть признана нашей волей. Бесспорно, понятие «норма» подразумевает, что нечто *должно* быть³¹.

С другой стороны, будет верно сказать и наоборот, что понятие нормы подразумевается нашим долгом, понятым абсолютно. Получаем равенство «норма = должное». Такой формулой, конечно, мало что сказано. Надо искать других путей. Выход из тупика мы найдем у Канта.

Жить в отчетливом мире, где есть правила, право, суд, правосудие, мы должны. Тем самым подразумевается, что такой мир не данность. Строго говоря, его нет без нас; мы отвечаем за его существование. Должность мира предшествует различению установленной и неуставной нормы. Учреждением законодательства мир еще не создается. Бывает наоборот: от слишком большого числа непонятных уставов возвращаются к неписаному праву, от которого недалеко до бесправия. В интуиции, в привычках, в обычаях, в так называемом народе ищут не закрепленное в законах, но именно потому надежное основание, на которое могла бы опереться жизнь.

То, что называют мафией, позитивной стороной имеет протест против учрежденного права, когда от него уже не ждут надежды на мир. Знаменитая сицилийская мафия пережила и пересилила сменявшиеся иностранные администрации острова (норманны, императоры Священной римской империи германского народа, французы, папское государство, снова французы), которые потеряли доверие населения и тем расчистили место для местной негласной администрации. Ее неписанный закон был не менее жестким чем официальный, но в отличие от официального доходчивым и понятным. Мафия определяется как система *приватного права*, имеющая сложный моральный кодекс. Он усваивался без того, чтобы его надо было записывать. Главным правилом морально-правового кодекса мафии служит неучастие в официальном правовом процессе. *Omertà* недостаточно широко переводится

²⁸ H. Kelsen. *Reine Rechtslehre*. Vollständig neu bearbeitete und erweiterte Aufl age. Wien, 1960. Цит. по: Чистое учение о праве Ганса Кельзена. Сборник переводов. Выпуск 1. М.: ИНИОН, 1987, с. 14.

²⁹ H. Kelsen. *Reine Rechtslehre*. Vollständig neu bearbeitete und erweiterte Aufl age. Wien, 1960. Цит. по: Чистое учение о праве Ганса Кельзена. Сборник переводов. Выпуск 1. М.: ИНИОН, 1987, с. 12.

³⁰ H. Kelsen. *Reine Rechtslehre*. Vollständig neu bearbeitete und erweiterte Aufl age. Wien, 1960. Цит. по: Чистое учение о праве Ганса Кельзена. Сборник переводов. Выпуск 1. М.: ИНИОН, 1987, с. 11.

³¹ H. Kelsen. *Reine Rechtslehre*. Vollständig neu bearbeitete und erweiterte Aufl age. Wien, 1960. Цит. по: Чистое учение о праве Ганса Кельзена. Сборник переводов. Выпуск 1. М.: ИНИОН, 1987, с. 11.

в наших словарях как «круговая порука». Слово *omertà* – диалектная сицилийская форма от *umiltà*, униженное смирение, кроткая покорность. Ниже мы будем на примере русского крестьянства и американских негров разбирать такой способ игры подчиненных со своими правителями. Изображая робкое послушание, внешне покорное население в действительности манипулирует вышестоящими, навязывает им прозрачную уязвимую позу недостижимых вышестоящих. Играя перед официальными властями и их полицией в беспомощное послушание, подчиненный мафиозной администрации прежде всего выполняет свой долг никогда, ни при каких обстоятельствах не искать справедливости у официальных властей и никогда не помогать им в раскрытии преступлений, даже если жертвой их оказался он сам. Малейшая помощь органам власти считается худшим предательством. Мафиозное право сомнительно по морали, но как *право* оно сильнее, свежее государственного права. Когда это последнее превращается в неправо, *Unrecht*, мафиозное право восстанавливает мир, хотя и специфический.

Неправо имеет по Гегелю в § 83 «Философии права» три формы: 1) непреднамеренное беззаконие по незнанию и неотчетливому пониманию права, 2) лукавство, коварство и обман, 3) прямое преступление.

Если неправо представляется мне правом, то это неправо непреднамеренно. Здесь видимость для права, но не для меня. Второй вид неправа – обман. Здесь неправо не есть видимость для права в себе, но проявляется в том, что я представляю другому видимость как право. Когда я обманываю, право есть для меня видимость. В первом случае неправо было видимостью [права] для права; во втором случае для меня самого, в ком воплощено неправо, право есть лишь видимость. И наконец третий вид неправа есть преступление. Оно есть неправо в себе и для меня: здесь я хочу неправа и не прибегаю даже к видимости права. Тот, по отношению к кому совершается преступление, и не должен рассматривать в себе и для себя сущее неправо как право. Различие между преступлением и обманом состоит в том, что в обмане в форме его совершения еще заключено признание права, чего уже нет в преступлении³².

Например, на сайте euroaddress.ru некто находит фамилию интересующего его человека и узнает имена и даты рождения членов его семьи, не подозревая, что тем нарушается пункт 1 статьи 24 Конституции Российской Федерации:

Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.

Право его ни к чему не обязывает, потому что он не знает закона. Он совершает беззаконие по неведению, что однако не освобождает его от наказания. Второй случай. Продавец квартиры говорит покупателю, что потерял первичный ордер и что в паспортном столе отказались поднять соответствующие архивы. Это обман. Вместе с работниками паспортного стола он нарушает пункт 2 статьи 24 Конституции, по которой

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом.

Для такого нарушителя право существует, но только как видимость, которая его в его глазах ни к чему не обязывает. Последний случай. Я вошел в чужую случайно открытую

³² Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Философия права. М., 1990, с. 138 сл.

квартиру и вынес оттуда ценную вещь. Для меня закон не существует ни как видимость, ни вообще как бы то ни было. Я совершил преступление, сознательно пойдя против закона:

Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом или на основании судебного решения.

Даже если я не знаю этой статьи закона, неприкосновенность жилища принадлежит к естественному праву, действующему одинаково в человеческом мире и в сообществах других живых существ. Незнание естественного права невозможно, оно записано генетически в каждом из нас. Нарушение естественного права допустимо только там, где этого требует установленный закон. Например, естественное право сильного властвовать, распоряжаться, получать так называемую львиную долю, безнаказанно уходить от наказания и уничтожать слабых отменено Конституцией:

1. Все равны перед законом и судом.
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.
3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации³³.

Полностью ли в этой статье отменено естественное право сильного? По-видимому нет. Оно ограничено возможностью для каждого оспорить право сильного, обратившись за помощью к суду.

Агентом неправа на всех трех уровнях незнания, обмана и открытого нарушения может быть, конечно, как отдельное лицо, так и государство. Первый тип неправа осуществляется государством обычно в виде нежелания давать гражданам правовое образование. Вторая и третья формы неправа одинаковы у отдельных граждан и у целых государств. Самую жестокую и успешную войну с мафией в Италии вело фашистское правительство, которое в то же время само было нарушением закона. К правительствам такого типа относится характеристика современного теоретика, характеризующего советское семидесятилетие как трагический опыт продолжительного доминирования неправомерной государственности³⁴.

Развертывая нашу тему, придется много говорить о не нашем, не свойском, неприступном лице права. Судьи в официальной ситуации не случайно одеваются в мантии. Право уходит корнями в интимное ощущение, что какие-то наши действия и поступки хороши, безусловно надежны, счастливы, а другие наоборот неудачны, сомнительны. Мы чувствуем, что есть такие вещи как судьба, выпавшая нам в жизни доля, которая велит нам делать одно и запрещает другое. Четко определить это ощущение трудно, и мы ищем опору для своего поведения в принятой норме. Никому ни в коем случае не хотелось бы, чтобы эту норму диктовали нам просто такие же люди как мы. Источник права должен быть глубже и надежнее, чем человеческие мнения и установления. Об обычном праве говорят, что оно существует *давно*. За этим *давно* кроется происхождение от высшей инстанции. О недавно уста-

³³ Конституция Российской Федерации. Раздел первый. Глава 2. Статья 19.

³⁴ В. А. Бачинин. Неправо (негативное право) как категория и социальная реалья // Государство и право. № 5, май 2001, с. 15.

новленных законах тоже неудобно сказать, что их сформулировали мы сами. Законодатели называют себя выразителями воли народа, понимая народ не просто как собравшийся коллектив современников, а включая в понятие народа умерших с завещанной ими традицией и потомков, включая также тех, которые еще не родились.

Приглашение дальних и других для создания нам законов скорее обычно в разных формах в разных странах. Новгородцы пригласили для своего упорядочения варягов. Ликург взял для Спарты за образец критские законы самого Миноса, который был сыном Зевса. Ликурга называли больше богом чем человеком и в посвященном ему храме он был изображен одноглазым как бог Солнца.

Греки говорили о законах: что имеет начало, то имеет и конец. Если закон хочет быть надежным, он должен иметь начало не во времени, а в божественной мудрости. Старинные неписанные законы правили с незапамятных времен, имели начало в богах или полубогах, и поскольку начала во времени не имели, то не должны иметь и конца. Новые законы должны выходить из старых, иначе к ним нет уважения и их изменяют и отменяют, а иметь меняющиеся законы – всё равно что не иметь никаких. Древние мудрецы, законодатели греков в Великой Греции, на Сицилии Залевк и Харонд постановили, что всякий желающий внести новый закон должен явиться в народное собрание с петлей на шее и тут же на месте повеситься, если закон не будет принят. Если случится, что какой-то закон толкуется спорящими сторонами по-разному, то оба спорящих должны иметь перед судьей опять же веревки на шее, и чье толкование будет отвергнуто, должен на месте удавиться. Эти меры помогли, и за триста лет в законы Залевка и Харонда было внесено только два дополнения. К норме «если кто кому выколет глаз, сам пусть лишится глаза» было добавлено: «если выколет одноглазому, должен лишиться обоих». К норме «кто развелся бездетным, тому дозволяется взять новую жену», было добавлено «но не моложе прежней». Законодатель Солон был связан со сверхчеловеческим началом безумием, с которого он начал свою политическую деятельность. В войне с Мегарой греки потеряли остров Саламин и по условиям мирного договора с мегарцами собственно капитулировали. Пропаганда за возвращение острова афинянам наказывалась смертной казнью. Солон вышел на афинскую площадь в виде безумного, со сбитыми волосами, в рваной одежде и стал выкрикивать стихами призыв вооружиться. Народ зажегся тем же безумием и силой вернул Саламин. Человеческими рациональными средствами достичь того же было бы невозможно.

С надчеловеческим происхождением права связано то, что до прояснения закона, нормы, права *между нами* дело практически никогда не доходит. В законе остается непонятность. Недовольство уставным правом ведет не столько к его рациональному изменению, сколько к скатыванию в неуставное право. Его неопределимость заставляет обратным импульсом снова формулировать право. Качели между писаным и неписаным правом принадлежат к естественному порядку вещей. Будет ошибкой мечтать об установлении законодательства всеобщим волеизъявлением. Право не создается и простым возведением обычая в закон (например: узаконить, сделать правилом подношения чиновникам). Утопией остается предсказанное марксистами возвращение права в якобы ранее бывшую когда-то беспроблемную обычность. Надеяться можно только – и единственно к чему реалистически стремиться – достичь равновесия, баланса между уставным и неуставным. Недостаток современного законодательства и причина кризиса права в том, что в нем мало обоснования надчеловеческими инстанциями, например древностью или божественным вдохновением. Царям внушал их решения непосредственно Бог, Сталину – уникальная, величайшая в истории мудрость. По Пьеру Лежандру, современный кризис власти есть кризис референции – привязки законов к надежному авторитету, их легитимации.

Когда у права нет явного надчеловеческого авторитета, становится актуальным его отношение к силе. Сила – право. В афоризме, носящем это заглавие, Паскаль трезво сказал суть дела:

Право всегда можно оспорить, сила легко опознаваема и бесспорна. Так что [вар.: кроме того] не удалось придать силу праву, потому что сила противоречила праву и сказала что оно неправо, и сказала что она права.

И таким образом, поскольку не удалось сделать, чтобы справедливое было сильным, сделали, чтобы сильное было правым.

Из-за интонационной и синтаксической трудности текст надо читать по-французски.

La justice est sujette à dispute, la force est très reconnaissable et sans dispute. Ainsi [другое чтение: aussi³⁵] on n'a pu donner la force à la justice, parce que la force a contredit la justice et a dit qu'elle était injuste, et a dit que c'était elle qui était juste.

Et ainsi ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste³⁶.

Легко решить, что Паскаль здесь всего лишь цинически констатирует факт. Так Анна Ахматова с горечью надеялась на будущее отмщение, не надеясь на правду здесь.

За меня не будете в ответе.
Можете пока спокойно спать.
Сила – право, только ваши дети
За меня вас будут проклинать.

Чтобы понять формулы Паскаля, надо рассмотреть их в контексте нескольких его записей о справедливости. Они неожиданные по открывающемуся в них уважению к силе. За Паскалем записаны слова:

Опасно говорить народу, что законы несправедливы; ибо он им повинуется только потому что верит в их справедливость. Вот почему ему надо одновременно говорить, что им надо повинаться, поскольку они законы, как вышестоящим надо повинаться не потому что они справедливы, а потому что они вышестоящие. Тем самым предотвращается всякий бунт, если удастся заставить это понять, и здесь собственно определение правосудия³⁷.

Право и сила – сравнимые по достоинству и разные до противоположности величины. Здесь главная или даже вся проблема права, которое само по себе достаточно очевидно, чтобы не нуждаться в определении.

Справедливо следовать тому, что справедливо; неизбежно следовать тому, что всего сильнее.

Правосудие без силы немошно. Сила без правосудия тиранична. Правосудие без силы оспаривается, *потому что всегда есть* негодяи. Сила без правосудия осуждается. Надо поэтому сочетать правосудие и силу с тем чтобы сделать так, чтобы правое было сильным или сильное было право³⁸.

³⁵ *Blaise Pascal*. Pensées, éd. Tourneur. Genève: Editions de Cluny 1942. T. I, p. 51.

³⁶ *Pascal*, Pensées, № 298 по изд.: *Blaise Pascal*, Oeuvres complètes, éd. Brunschvicg, Boutroux et Gazier, 14 vol. P. 1904–1914.

³⁷ *Pascal*, éd. Tourneur..., p. 39.

³⁸ *Pascal*, éd. Tourneur..., p. 50.

В русском марксизме был цинический реализм, позволявший говорить, что

Право носит всегда классовый характер: с помощью права господствующий класс закрепляет порядок отношений, соответствующий его интересам³⁹.

И с той же откровенностью:

Характерная особенность права – соблюдение его норм обеспечивается принудительной силой государства⁴⁰.

Западные теоретики права в менее резкой форме, говоря об иерархии социумов и соответственно систем права внутри государства, всё же констатируют, что государство имеет преимущество и его право соответственно преобладает⁴¹.

На силе или праве стоит государство, остается всегда вопросом. Большинство склонно, как замечает Паскаль, видеть в существующем законе справедливость. Не опровергнуто откровение Ницше о безраздельном правлении воли к власти. Мафия, с вызовом отклоняющая официальное право, ставит на его место казалось бы насилие. Вместе с тем, всякая власть использует нравственную силу права и всякая сила имеет свои естественные права. На вопрос, неизбежен ли спор права и силы, существует ответ.

³⁹ Советский энциклопедический словарь. М., 1982, с. 1062.

⁴⁰ Советский энциклопедический словарь. М., 1982, с. 1062.

⁴¹ Encyclopaedia Universalis. Vol. 7, 692 b.

I. Общие положения

1. Право, порядок, мораль⁴²

Отсутствие определения права, чему удивлялся Иммануил Кант и продолжают удивляться современные писатели, не мешает тому, чтобы право эффективно работало. Точно так же неопределимость времени увязывается с тем, как легко ответить на вопрос «сколько времени». В старом анекдоте иностранец спросил об этом в Лондоне, забыв употребить определенный артикль. Получилось *What is time?* Англичанин посмотрел на иностранца задумчиво и признался: «Я тоже давно думаю над этим вопросом». Заданный с определенным артиклем или указательным местоимением, вопрос оказался бы привязан к конкретной ситуации, к расписанию и календарю. Так же конкретно, внутри принятого образа жизни, мы пользуемся правом. Если человек спрашивает другого, «какое вы имеете право брать меня за руку», здесь нет приглашения осмыслить содержание термина. Вопрос означает конкретно, что задавший его готов позвать милиционера или требует показать ордер на арест.

Время, в своей сущности неопределимое, удобно расписано в нашей цивилизации. При ее деловом характере у нас нет времени думать о времени. Мы пользуемся счетом на каждом шагу, но дефиниции числа ни в математике, ни в философии не существует. Сходным образом у каждого из нас столько конкретных юридических проблем, что не остается места для определения самого по себе права.

Правовой системе внутри нашей цивилизации придает убедительную весомость ее принудительность. Если понадобится, я могу через государственные органы, суд, милицию добиться осуществления силой моих прав. Государству в наше время принадлежит исключительная монополия на принудительное осуществление права, будь то моего частного, или так называемого публичного права, т. е. права самого государства на распоряжение своими подданными.

Право (*Recht*) есть порядок (*Ordnung*), отличающийся от других общественных порядков принудительностью⁴³. В практике государства принято обязывание что-то делать или, наоборот, не делать. Причина, объясняющая принуждение, называется правом. По определению Ганса Кельзена,

государство есть по своей сути принудительный порядок, а именно централизованный принудительный порядок с ограниченной территориальной сферой действительности⁴⁴.

Как при конфликтах в животном мире дело редко доходит до физического столкновения, так государственное принуждение не обязательно насилие. Резиновая дубинка, наручники, даже штрафы применяются не часто. Обычно бывает достаточно неодобрительного отношения или предупреждения со стороны власти. Довольно часто люди, нарушающие или даже не нарушающие право, сами хотят принуждения. Ганс Кельзен обращает внимание на тоску большинства по правопорядку.

⁴² <МГУ 11.09.01; ИФ РАН 17.02.02>.

⁴³ Чистое учение о праве Ганса Кельзена..., с. 51, 56, 71 и др.

⁴⁴ Чистое учение о праве Ганса Кельзена..., с. 76.

Раскаявшийся преступник может желать понести установленное правом порядком наказание и потому воспринимает его как благо⁴⁵.

В обществе здесь та же коллизия что в одиночке, который часто хочет одного и принуждает себя к другому, не умея жить без этой дисциплины. Неодобрением, предупреждением о дурных последствиях действует и мораль. Как и право, она говорит о должном. Чем отличается право от морали?

В идеале право совпадает со справедливостью и соответствует морали, которая придает ему авторитетность, когда имеет высокое божественное происхождение. Апостол Павел учит в гл. 13 Послания к Римлянам:

Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из наказания, но и по совести. Для сего вы и налоги платите, ибо они [власти] Божии служители, сим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное: кому налог, налог; кому пошлину, пошлину; кому страх, страх; кому честь, честь.

Отличительной чертой права называют его принудительность. Но принуждение есть и в морали. По Иммануилу Канту, имеет ценность только поведение, идущее наперекор личной склонности или интересу. Делая доброе дело потому, что оно мне интересно и приятно, я еще не нравственный человек. Фридрих Шиллер шутливо изложил это правило в александрийских стихах:

Ближним охотно служу, но увы, я имею к ним склонность.
Вот и терзает вопрос, вправду ли нравственен я.

Мораль оказывается по Канту обязательно принуждением.

Моральный закон у людей есть поэтому *императив*, повелевающий категорически, ибо этот закон абсолютен; отношение такой воли к этому закону есть *зависимость* под названием обязательности, означающая *принуждение* (Nötigung), пусть лишь через разум и его объективный закон, к деянию, называемому соответственно *долгом*⁴⁶.

В таком свете разница между моралью и правом та, что в морали я принуждаю сам себя, а в правом порядке монополией на принуждение обладает государство. С другой стороны, законопослушный гражданин может, не дожидаясь напоминания органов правом порядка, сам например заплатить налоги.

Мораль, причем не только религиозная, обещает за самоограничение, аскезу и страдания не только награду на небесах, но и в здешней жизни чистоту совести, духовный мир, благодать. Государство, уводя молодого человека от семьи на службу в армии, предполагает, что в конечном счете цель государства есть всеобщее благосостояние, развертывание возможностей каждой личности, полнота существования, в конечном счете счастье той же семьи.

⁴⁵ Чистое учение о праве Ганса Кельзена..., с. 50.

⁴⁶ I. Kant. Kritik der praktischen Vernunft // Gesammelte Schriften. Hrsg. von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften. Bd. V. Berlin, 1908, S. 32.

Государство имеет правоохранительные органы, в которых работают специалисты, осуществляющие применение силы. В системе морального нормирования такой централизованной системы принуждения как будто бы нет. Однако и это различие между правом и моралью оказывается размытым. В международном праве, которое регулирует отношения между государствами, тоже нет централизованного органа правопорядка. Организация Объединенных Наций слишком слаба; ее охрана, полиция и войска на самом деле формируются из армий отдельных стран, т. е. реально в миротворческих миссиях ООН отдельные государства или группа союзников действуют против других. Если право есть система принуждения, то международное право, где наднациональной системы правосудия нет или она очень слаба, не отличается от *международной морали*; так его иногда и называют. С другой стороны, в светской и религиозной морали существует применение силы, например родителями в отношении детей, и централизованный контроль, например введенная федеральным министерством отметка школьникам за поведение или официальный запрет патриарха РПЦ смотреть некоторые фильмы.

Четко разграничить право и мораль оказывается трудно или вообще невозможно. При всём том, подобно тому как мы обязаны вступить в пространство права, признав абсолютность долга, закона, нормы, хотя могли бы, возможно, спокойнее прожить без них, точно так же мы обязаны требовать различения между правом и моралью, хотя, возможно, спокойнее было бы согласиться с буквальным смыслом апостола Павла, что власть от Бога и составляет одно целое с моралью и верой. Если мы слышим, что сосредоточение всей власти в одних руках отвечает традиции и привычкам народа, разумным будет возразить, что в вопросах права надежнее держаться конституции (основного закона), оставив нравы в компетенции морали. Если скажут, что требование права, например обязанность суда провести явного преступника через всю судебную процедуру по букве УК и УПК и соответственно с риском его оправдания по формальным причинам, противоречит морали, взывающей к обязательному наказанию порока, то надо отвечать, что какой бы ни была система законов, пусть даже несправедливой, есть нравственность в том, чтобы соблюдать норму ради соблюдения нормы. Независимо от того, каково право содержательно, оно нравственно ценно тем, что отстаивает принцип *нормы*.

Наш первый долг признать абсолютную необходимость долга⁴⁷ требует отделить право как обязательную норму от морали. Многоженство, которое христианская мораль назовет отвратительным, мораль ислама считает достойной нормой. То, что у нас одобряется – заговорить на улице с чужим ребенком, подарить ему конфетку, – в Париже примут за агрессию вплоть до оглядки на полицейского. Высоконравственный, почти святой поступок примирения с врагом, даже убийцей родственника, у народов с обычаем кровной мести есть преступление. При слиянии права с подвижной моралью обязательная всечеловеческая норма исчезает.

При необходимом согласии с моралью право в неоднородной стране как наша должно было бы опираться на всеобщую мораль. Такая мораль существует. Ее правило: поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. В формулировке Иммануила Канта: поступай всегда только по таким правилам поведения, которые ты хотел бы сделать основой законодательства и всеобщим законом природы⁴⁸. Императив (долг) вести себя таким образом не служит никаким целям вне самого себя, не меняется во времени и пространстве⁴⁹.

⁴⁷ См. выше (с. 31 настоящей публикации).

⁴⁸ «Der kategorische Imperativ ist also nur ein einziger und zwar dieser: *handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde* [...] *handle so, ah ob die Maxime deiner Handlung durch deinen Willen zum allgemeinen Naturgesetze werden sollte*». (I. Kant. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten // Gesammelte Schriften. Hrsg. von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften. Bd. I V. Berlin 1903, S. 421.)

⁴⁹ «Der kategorische Imperativ würde der sein, welcher eine Handlung als für sich selbst, ohne Beziehung auf einen andern

Такая мораль должна служить основанием всякого права. Достижение ее однако требует многого, не в последнюю очередь – разбора всей нашей конкретной ситуации с правом. Этим мы и попытаемся заняться.

Принудительность права предполагает инстанцию, осуществляющую при необходимости насилие в опоре на законодательно принятые нормы. Государство, как уже отмечалось, в течение нескольких последних веков присвоило себе исключительную монополию на применение насилия. Теперь монополизация принуждения государством считается даже первым условием упорядоченного общества. Шесть или семь поколений назад государственная монополия на насилие уже в основном существовала. Большинство государств имело своим воплощением лицо государя. Он в конечном счете казнил и миловал. Замещение после революции самодержца государственным служащим можно сравнивать с переходом от отсечения головы палачом к гильотине. В ту же эпоху, когда в ходе Великой французской революции возникло современное демократическое государство, французский врач Жозеф-Иньяс Гийотен провел через Национальную Ассамблею закон о том, чтобы из уважения к казнимым гражданам и ради меньшей болезненности смертные приговоры приводились в исполнение «посредством машины». До того подобными приспособлениями казнили в Шотландии, в Англии и еще в других частях Европы благородных преступников, к чьему телу не могла прикоснуться рука простолюдина. С тех пор до 1977 года с казнимым во Франции расправлялась машина. Человек, отводящий стопор от ножа гильотины, не заметен, в отличие от стоящего на виду у всех палача, и сам может не видеть шею казнимого, на которую обязательно должен смотреть, чтобы не промахнуться, палач. Так в государстве нового типа без всевластного самодержца лицо исполнителя принуждения теряется внутри системы государственных институтов.

В критической социологии Бурдьё⁵⁰ современное государство есть фиктивное тело⁵¹. Продолжая наше сравнение, гильотина, на которую все смотрят во время казни, в важном смысле остается фикцией. Реальный деятель тот, кто держит веревку от крюка косога скользящего ножа, и распорядитель казни. Поскольку глаза всех прикованы к большой машине, настоящего исполнителя трудно усмотреть за нею. В том же смысле, по Бурдьё, реально действуют никогда не «государственные органы», а всегда только индивиды. Безличная государственная машина была изобретением профессии адвокатов. При последнем короле Людовике XVI во Франции была предпринята перестройка судебной системы в сторону ее независимости от монарха. В ходе ее подготовки и обсуждения в общественном мнении сложилась идея общего блага и служения государству⁵². В предреволюционной Франции публицистика, авторами которой были в основном юристы, выдвинула на первое место служение не лично государю, а благу государства. Заговорили лица, претендовавшие на роль объективных экспертов незаинтересованной преданности всеобщему благу. [Юристы] были заинтересованы в придании универсальной формы выражению своих клановых интересов, в выработке теории служения обществу или общественному порядку и соответственно в авто-

Zweck, als objektiv-notwendig vorstellte» (Ibid., S. 414).

⁵⁰ Достоинством Пьера Бурдьё считается «реалистическое равновесие» между полевыми исследованиями (начиная с ранней работы «Алжирцы», где изучается жилище кабиллов) и научной гипотезой, между фактом и теорией. Одно время он был исполнительным директором основанного Реймоном Ароном Европейского центра исторической социологии (Centre européen de sociologie historique). На многие языки, в последнее время на русский переводятся его работы по социологиям семьи, религии, образования, литературы, питания, инфляции. Наиболее известна его критическая социология государства, т. е. права.

⁵¹ *Pierre Bourdieu. Rethinking the State: Genesis and Structure of the Bureaucratic Field // Pierre Bourdieu. Practical Reason. Cambridge (U.K.): Polity Press 1998, p. 43. Цит. по: Oleg Kharkhordin. What is the State? The Russian Concept of Gosudarstvo in the European Context // History and Theory. Studies in the Philosophy of History. Vol. 40, № 2. Wesleyan University 2001, p. 229.*

⁵² *Pierre Bourdieu. Rethinking the State...*, p. 48. См. также: *Pierre Bourdieu. The State Nobility: Elite Schools in the Field of Power. Stanford: Stanford University Press 1996, p. 377–380.*

номизации *государственной логики* отдельно от монархической логики, от «королевского дома» и тем самым в изобретении *res publica* [общего дела, интереса], а потом республики как инстанции, трансцендентной по отношению к агентам (включая короля), временно ее воплощающим⁵³.

Общественному благу при таком его понимании служит наравне со всеми гражданами и сам государь. Тем самым потенциально уравниваются с государем те, кто прежде ему всего лишь служил. Со временем встал вопрос о проверке, действительно ли государь служит общественному благу. Этот критерий не исключал изгнание и казнь государя как плохого служителя теми, кто знает и выполняет задачу лучше.

По Бурдьё, профессия юристов, сыгравшая главную роль в создании такого общественного мнения, была политически заинтересована в нем. Быть государем не дано каждому: для этого надо иметь нужную наследственность. Служить общему благу может наоборот каждый, надо только доказать, что ты именно этим занят. Государственная идеология общего блага становится со временем решающей силой. Право и его принудительность остаются прежними, теряется только лицо носителя права, которое было всем видно на троне. Фиктивность нового государства делает его неуловимым. Реальный исполнитель принуждения невидим за государственной администрацией, как палач за гильотиной.

[Теперь] понятие «государства» имеет смысл только как удобный стенографический знак – причем очень опасный, – кратко обозначающий области взаимоотношений реальных сил [...]; эти области могут принять форму более или менее стабильных сетей (союза, кооперации, клиентелизма, взаимных услуг и т. д.), которые дают о себе знать в поразительно разнообразных интеракциях, начиная от открытого конфликта до более или менее тайного сговора⁵⁴.

Неуловимая невидимая сила не становится слабее личной, ее диктат не меньше чем при самодержавной власти. Как скользкая гильотина безболезненнее чем прямой удар топором, так подчинение не вот этому лицу, а государству удобнее и легче превращается в привычку. Найти источник принуждения становится трудно до невозможности. Упрочение новоевропейского государства обеспечивали идеологи, внушавшие независимый от личной воли государственный разум (*raison d'Etat*) вне религии и морали⁵⁵. Всеобщее благо требует подчинения себе. Грубое или неразумное поведение властей освежает идею всеобщего блага. Она притягивает к себе больше сил, когда требуется ее восстановление. Разум, который люди хотят видеть в государстве, тем более привлекает, что государство отождествляется с правом. Будучи собственно системой механизмов права, оно кажется автоматически обеспечено правотой. Естественно ожидать, что его ученые, судьи, политики обеспечат правду лучше чем одиночка.

Бурдьё предлагает видеть причину сложившейся послереволюционной ситуации, когда под именем демократии выступает неизвестно чье правление, в механизме представи-

⁵³ *Pierre Bourdieu. Rethinking the State...*, p. 48. См. также: *Pierre Bourdieu. The State Nobility: Elite Schools in the Field of Power.* Stanford: Stanford University Press 1996, p. 377–380.

⁵⁴ «[...] The notion of “the state” makes sense only as a convenient stenographic label – but for that matter, a very dangerous one – for these spaces of objective relations of power [...] that can take the form of more or less stable networks (of alliance, cooperation, clientelism, mutual service, etc.) and which manifest themselves in phenomenally diverse interactions ranging from open conflict to more or less hidden collusion» (*Pierre Bourdieu and Loic Wacquant. An Invitation to Reflexive Sociology.* Chicago: University of Chicago Press, 1992, p. 111).

⁵⁵ *Friedrich Meinecke, Idee der Staatsräson in der neueren Geschichte*, 1924 (книга о Макиавелли), напоминает о хоре бесчисленных публицистов (неизученные «катакомбы [...] забытой литературы посредственностей»), внушавших идею *Staatsräson*.

тельства. Номинально все граждане равны в правах. Они делегируют свои полномочия тем, кого специально для этого выбирают. Делегат говорит своими формулами и решениями за массу, которая должна поверить, что слышит в нем свой голос.

Реальный источник магии перформативных [предписывающих] высказываний скрывается в мистерии служения, т. е. делегирования [прав], в силу которого индивид – король, священник или представитель – получает мандат говорить и действовать от имени группы, конституирующейся в нем и через него⁵⁶.

Отсюда как будто бы напрашивается вывод, что если инстанцией, где выявлена фикция общего блага, оказывается представительство, то единственным подлинным своим выразителем может быть только всё общество в полном составе. Представительная инстанция должна уступить место народному собранию. Здесь надо возразить, что агора, вече, тинг, в наше время всенародный референдум – неповоротливые механизмы, увязающие в бесконечном обсуждении. Молчаливое большинство было бы предано говорливым меньшинством только в случае противоречия в их высказываниях. Такого однако не наблюдается, потому что большинство в принципе не высказывается никогда. Оно *должно* быть молчаливым, как молчат земля, мир, вселенная. Переход молчания в голос так или иначе происходит, и неожиданность при этом неизбежна.

Необходимость представительства не сразу очевидна, но должна в конечном счете быть признана. Ганс Кельзен в примечании к одному из переизданий «Чистого права» признается:

Я больше не придерживаюсь своего прежнего мнения о том, что акты голосования, в результате которых закон принимается большинством голосов и становится действительным (вступает в силу), не всегда бывают актами воли, – потому что голосующие часто не знают или знают недостаточно хорошо содержание закона, за который они голосуют, а водящему должно быть известно содержание воли. Когда член парламента голосует за законопроект, содержание которого ему неизвестно, то содержание его воли представляет собой своего рода уполномочивание. Голосующий хочет, чтобы законом стал тот законопроект, за который он голосует, независимо от его содержания⁵⁷.

Человек вручает себя другому или другим. Он вручает им свою волю, словно подписываясь под чистым листом бумаги. Здесь есть место для благородства доверия.

Подойдем к тому же самому с другой стороны. Термин *правопорядок* обычно применяется и толкуется так, как если бы две его части были синонимичны. Кто пользуется монополией на принуждение, естественно заинтересован в том, чтобы вводимый им порядок был признан как правый. В критической социологии Пьера Бурдьё главное принуждение, не насильственное, а *символическое*, идет именно по линии внушения, что вводимый порядок освящен высшим правом. Этому служит торжественность власти, окружение ее священными символами. Когда мы видим рядом с президентом церковного иерарха, перед нами символ освящения действий президента. Для успеха убеждения в том, что существующий порядок и есть справедливость, по Бурдьё требуется прежде всего правовое незнание масс.

⁵⁶ «The real source of the magic of performative utterances lies in the mystery of the ministry, i.e. the delegation, by virtue of which an individual – king, priest or spokesperson – is mandated to speak and act on behalf of the group, thus constituted in him and by him» (*Pierre Bourdieu. Language and Symbolic Power. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1991, p. 75*).

⁵⁷ Чистое учение о праве Ганса Кельзена..., с. 16.

Мы помним, что перечисляя формы неправа (Unrecht), Гегель на первое место ставит правовую неграмотность.

Неправо таким образом оказывается первым условием быстрого и беспроблемного введения порядка. В термине *правопорядок*, когда он применяется бездумно, соединены понятия, которые часто противоположны. Большинство населения обычно готово ради скорейшего введения порядка не вдумываясь в правовую сторону вводимых ради порядка мер. Например, большинство нашего населения фактически согласно с системой регистрации, бесспорно очень помогающей порядку, хотя то же большинство без колебаний признает, что система регистрации прямо нарушает заявленные в конституции права человека и по сути дела продолжает старую систему прописки, остаток крепостного права. Порядок обещает скорые удобства, путь терпеливого следования праву кажется слишком долгим. При правовой неграмотности, культивируемом состоянии массы, элементарно доходчив порядок и тревожным и хлопотным кажется право. Оно обычно примитивно и несправедливо отождествляется с качанием прав, что понятным образом неэстетично. В целом масса готова идти навстречу внушаемому силой-властью прочтению права и порядка как тождества.

В порядке есть удобство, он полезен, позволяет спокойно жить. Соблюдение права, в отличие от этого, как уже говорилось, вовсе не обязательно приносит непосредственную выгоду мне или еще кому-нибудь. В праве есть сторона рыцарства: я верен закону, долгу просто из верности. Есть разум в том, чтобы требования долга не смягчались упоминанием о том, что их выполнение и только оно делает человека достойным счастья⁵⁸. Убеждать преступника, что в тюрьме ему лучше – не дело права. Здесь есть, конечно, опасность ненужной или чрезмерной жестокости. Тот, чьими руками осуществляется принуждение, сам должен быть честно уверен, что поступает так ради добра. Переключать оправдание принуждения на наказываемого тоже нельзя. Принуждение, даже соответствующее закону и необходимое, становится дурным и перестает служить своей цели, если наказывающий не видит для наказываемого другой перспективы кроме ограничения свободы и жизненных возможностей. Дисциплина у хранителей права, когда они в нее не верят, незаметно извращается в бессмысленное насилие. Тогда только терпение и все понимание наказываемого могут восстановить исправительный смысл принуждения. Власть теряет право на принуждение, если не знает или не чувствует, как применение силы приведет к лучшему.

Принуждение, да к тому же без необходимости объяснять, что оно служит добру, придает праву несвойский облик. Его приемы не обязаны быть непосредственно доходчивыми, иногда они отчуждают до вызова на противодействие. Право говорит с нами на своем, не нашем языке. Оно диктует мне то, чего я сейчас не хочу, и заставляет меня думать, что по существу в конечном счете я должен этого хотеть. Нас коробит, что от права – от законного порядка, в том числе от демократии и свободы – неотделим силовой прием. Пока нам не до конца ясен строй нашего же подлинного бытия, т. е. такого, каким оно должно быть, закон как бы напоминает, что мы еще не такие, какие должны быть. Забегая вперед, можно сказать, что закон нам навязан непроясненностью *собственно своего*, тем, что мы еще не нашли себя.

В качестве несвойского закон часто имеет иностранное происхождение. Заимствование закона в чужой стране не редкость, а скорее правило становящихся государств. Царь Петр I скопировал иностранные законы «чтобы улучшить наше отечество»⁵⁹. «Русская Правда» – название этого судебного уложения звучало исходно не в смысле наша, родная отечественная, а как правовой распорядок большого нового русского государства с центром в Киеве, данный, предположительно, Ярославом Мудрым Новгороду, который в то время, в XI веке, Русью себя еще не называл. Характер введения закона – строгий, официальный,

⁵⁸ Glückseligkeit (там же).

⁵⁹ Панагирическая литература петровского времени. М., 1979, с. 281, 289, 292.

иногда тождественный – подчеркивает недомашность права. Мечты о каком-то органическом порядке, который естественно вырос из текущей жизни, идут от непонимания сути права.

Отчуждающая потусторонность закона распространяется и на неуставное право. В конце старого итальянского фильма о мексиканской революции «Chi sa?» коренной житель страны, повстанец, расставаясь с американцем, который рискуя жизнью прошел с ним через все опасности, стреляет в него, уже садящегося на обратный поезд в Штаты. *Perché*, за что? – с горьким удивлением спрашивает умирающий. *Chi sa*, кто знает! – звучит точный ответ. Неписаное право в народе, в преступной, мафиозной среде, в той среде власти, которая не показывается на людях, вовсе не обязательно удобно для самих живущих по этому праву, и не ими установлено. Неписаное право такое же жесткое, *mutatis mutandis*, как писаное.

Переход от обсуждения, всегда в принципе бесконечного, к принятию закона (кодекса, конституции) всегда включает преодоление порога, какого-то рода переключение. Чтобы торг на вече перестал наконец шуметь, нужно появление князя с его решающей судебной властью. Для парламента нужен утверждающий его законы президент. Для византийских церковных соборов, чтобы доктринальные препирательства не длились вечно, требовалось постановление василевса, без чьей санкции церковные догматы не принимались; иначе вероучительные споры продолжались бы бесконечно.

Право принимает облик в другом теле, сейчас – в «фиктивном теле» государства. До того монарх кроме смертного тела считался обладателем отличного от физического бессмертного политического тела, поэтому *le roi est mort* переходило в официальной формуле оповещения кончины государя непосредственно в *vive le roi*, как если бы тот же король возрождался, продолжался в его сыне. С превращением монархий в демократии носителем бессмертного политического тела стал народ. Появилась формула *le roi est sorti, la nation reste*. Разница – порог – между физическим народом, который подчиняется праву, и идеальным народом-сувереном, который создает законы, осталась по существу та же, что между человеческим и политическим телом короля.

Разница эта отчетлива до того, что физический народ может погибнуть ради народа-идеала. Выражение «Ленинград пережил блокаду» неверно, потому что не пережил, а на 75 % вымер, в остальной части был физически и психически травмирован. С другой стороны, это выражение, «город-герой, переживший блокаду», совершенно верно в отношении народа-идеала. Маркиз де Кюстин говорит о Петербурге, что этот город с самого начала был построен для «несуществующего народа»⁶⁰. Законы создаются, конечно, представителями реального народа, этих конкретных людей, которые голосовали за своих депутатов, но от имени народа-идеала. Скачок от одного к другому всегда входит в процесс законотворчества.

В заведомо светском, секуляризованном, правовом государстве депутаты (*Abgeordneten*) подчеркивают свою принадлежность к физическому народу и просвещенно иронизируют над фикцией общественного блага. Этим ничего не меняется в отделении создаваемого ими закона от их воли. Закон вдруг неприметно перестает быть инструментом в руках его принявших и становится для них самих правилом. Он говорит уже не голосом физических людей, его произносит народ-суверен. Непрочность закона, возможность его перетолковать, обойти, сменить, забыть как раз больше там, где демократия еще не установилась, где меньше обязательных, установившихся демократических процедур прохождения закона. Демократические процедуры часто, особенно со стороны, кажутся замедляющими дело, формалистикой, иногда нелепицей. Они как конвейер, медленно проходя через который, новый закон органически встраивается в сложившийся порядок. Пройдя через фильтр законодательных процедур, закон и приобретает облик *чужести*.

⁶⁰ *Астольф де Кюстин*. Россия в 1839 году. В двух томах. М.: Из-во им. Сабашниковых, 1996, т. I, с. 233.

Поведение граждан в демократиях Франции, Германии жестко регламентировано. Пример: по недавно принятому в ФРГ закону философ (не знаю, относится ли это к другим наукам), которому в течение 12 лет после защиты им докторской диссертации не удалось получить по конкурсу профессорскую кафедру, лишается государственной поддержки. Америку называют страной судов и юристов. Законодательный запрет в некоторых местностях США огораживать забором собственный участок с лицевой стороны, обязанность платить по закону посетителю, получившему травму на обледенелой дорожке моего участка, напоминает регуляцию в демократических Афинах, где торговец, не поливающий регулярно на агоре продаваемую рыбу водой, выставялся оттуда агораномом. В демократическом порядке многое отдано закону примерно так же, как Одиссей велел связать себя, потому что не хотел позволять себе делать то что хочется.

Законодатели, соблюдающие строго все установленные конституцией процедуры, этим конечно связывают себе руки. Но закон, который мы делаем как хотим, и не будет законом, и останется недействительным. Тенденция (традиция) создавать порядок, правила *ad hoc*, применительно к обстоятельствам, оставляет людей без закона, в неправу. Один пример. В трудных ситуациях на войне нашим солдатам хорошо служила способность быстро, на месте, например в случае гибели командиров или сбивчивости приказов, образовывать неуставные структуры управления. Этим русские солдаты отличались от немецких, которые продолжали в любой, в том числе крайней и непредвиденной ситуации, ориентироваться на общеармейский устав, на приказы сверху. Но оборотной стороной легкого образования неуставных отношений была в нашей армии непрочность уставных отношений. На стратегическом уровне это чаще приводило к катастрофическим ситуациям, чем в более законопослушной немецкой армии. Другой пример. Дедовщина в срочной армейской службе, т. е. создание в провалах устава неправовых отношений, происходит от неуважения к правилам самоуправления, т. е. к демократическим процедурам. Еще пример. Иллюзия возможности самим выработать быстро взамен старого новое небывалое право в России 1917–1918 годов создала социалистическое право, которое приходится называть теперь по крайней мере во многих отношениях неправом.

Прохождение в традиционных демократиях создаваемого закона через сложные процедуры с самого начала отодвигает закон от нас, мешает взять его в руки, использовать его, перетолковать. Соблюдение законодательных процедур уже до создания законов предполагает традицию правового сознания. Этот термин определяется как «совокупность взглядов, идей», касающихся права⁶¹. Правосознание есть в первую очередь понимание (ощущение) природы права, его не свойской, не служебной, не утилитарной сути. Карманное спешное законодательство говорит об отсутствии правосознания.

Термины *закон* и *право* употребляются в близком смысле. Важная разница между ними обнаруживается в том, что закон, как и порядок, может быть неправом⁶². Право и правосознание есть там, где каждый шаг, в том числе каждый шаг законодательства, не дожидаясь принятия закона, с самого начала уже выверяется на право-неправо⁶³. Правосознание предполагает поэтому, что право – это не то, что мы с вами сейчас установим, а что есть уже до нас всегда. Право как система законов создается нами, но решаем, что мы вправе делать, не мы сами для себя.

Ошибка смешения права и закона проявляется в иллюзии, будто конституцию и законы всегда можно сменить или подновить. Безопасно менять или дополнять конституцию можно

⁶¹ ЮЭС..., с. 279.

⁶² «Закон может соответствовать (быть правовым), частично соответствовать правовому идеалу [...] Задача законодателя состоит в том, чтобы увеличить объем их совмещения» (С. А. Емельянов. Право..., с. 8).

⁶³ На языке юристов: «Приобретает особую значимость введение обязательной правовой экспертизы законов, управленческих решений, социально-экономических программ» (там же, с. 9).

уже только на основе правосознания, т. е. привычки на каждом шагу сверять себя с правдой и соблюдать демократические процедуры. Постоянная выверка себя на правоту (правосознание) тут же создает правовые процедуры, в сущности исходно одну самопроверяющую правовую процедуру. Настоящие законы, т. е. правопорядок, а не утилитарный порядок, создаются внутри нее.

Особенность философских императивов, к числу которых относится обязанность следовать праву, норме, долгу, заключается в том, что они предписывают то, что так или иначе уже есть. В пространстве права мы привативно, т. е. по способу лишения, находимся и тогда, когда не решаемся в него вступить; мы пассивно открыты принуждению, а в остальное время вырабатываем в себе навыки ускользания от него. Право или неправое осуществляемое над нами принуждение, мы знать не можем, потому что не взяли на себя задачу решения. Поведение, обходящее закон, тоже тем самым подчинено закону. Слабость закона дает то преимущество, что его можно обойти, но эта выгода меньше, чем неудобство от выполнения одновременно двойной задачи, обход закона и ориентировка в беззаконном пространстве.

Каждый человек занимается разным, но есть вопросы, например начинать или не начинать войну, которые одинаково касаются всех. *Res publica* по латыни значит общее дело. Наше слово *государство* имеет другую этимологию, но давно служит переводом для *res publica*. «Государством» называется у нас большой трактат Платона *πολιτεία*, в западных изданиях *Respublica*.

Общее собрание народа, если оно сошлось без специальной выборки и не запугано, – такое собрание в старой деревенской России называлось *мир*, в Новгороде и Пскове *вече*, в Скандинавии *ting* (англ. *thing*, нем. *das Ding*, *вещь* или *дело*, в смысле *общее дело*), – имеет то известное свойство, которое хорошо описано в книге Элиаса Канетти «Масса и власть»: спонтанно возникает установка на справедливое решение. На этом основан принцип большинства в демократии. Настоящий смысл *решения большинством* не тот, что пусть в ситуации разногласия недовольных будет меньше чем довольных, а тот, что по-настоящему общее собрание, где собрались если не все, то почти все, начнет поступать по справедливости. Происходит что-то вроде спонтанного саморегулирования общества.

Мы читаем в критической социологии Пьера Бурдьё, что государство есть фиктивное тело. Но государство в то же время и саморегулирующееся общество. Государство как общее собрание, как *res publica*, как *ting* в конечном счете – как по крайней мере всеми предполагается, всеми от него ожидается, – будет искать и добиваться модуса бытия, отвечающего правде, не частной, твоей и моей, а правде мира. Согласиться с радикальными критиками, что самоисправление общества в ориентации на справедливость только иллюзия, было бы слишком ответственным историософским шагом. Конечно, предполагаемая безотносительная справедливость государства может быть на время нарушена, общее собрание может ошибиться, метнуться к корыстным интересам, но динамика общества такова, что со временем всё снова выравнивается и настроенность на высшую правду побеждает.

В широкой дискуссии о правовом государстве в эти наши годы можно встретить много партийных узких установок, национализм, так называемое евразийство, с другой стороны наоборот глобализм, с откровенным групповым интересом, но снова и снова возобновляется бескорыстное, незаинтересованное требование просто справедливости ради справедливости, причем не только в отношении людей, но и в отношении природы, всего мира. В *res publica* ищут и находят модус бытия, отвечающий правде. Одно из предлагаемых сейчас определений права напоминает о том, что всегда разумелось само собой: что справедливость должна распространяться на природу. На языке юристов:

Сохранение окружающей природной среды является фундаментальным признаком, определяющим содержание права⁶⁴.

Такие вещи как благополучие, здоровье и нравственность, добротность, полнота бытия входят в право как естественно справедливое. Свою естественную, природную тягу к справедливости общество в нормальном состоянии, находящееся не под оккупацией и не в больном или вырождающемся состоянии, если не отчетливо осознает, то ощущает. Это ощущение широко, до злоупотреблений – не забудем критику Бурдые – используется группами власти. Каждое государство выступает естественным экспертом, потенциальным защитником в деле справедливости. Справедливость, которую естественно представляет государство, по определению не частная, корыстная, эгоистическая, а потому она предлагается как пригодная для всего человечества и для всей природы вообще. Отсюда важное следствие: всякое национальное государство выступает как потенциально мировое. В раннем, недолго длившемся, размахе большевиков, когда они хотели строить всемирный союз социалистических республик, была та правда, что всякое государство обязано быть настолько справедливым, чтобы этой справедливости, так сказать, хватило на целый мир. Та же интуиция вела французские революционные армии под водительством Наполеона. Партия Александра Македонского ощущала в политическом опыте, науке, мужестве греков достаточно правды, чтобы можно было ожидать, что ее примет весь мир. Создавая мировую империю, Рим нес в свои провинции римское право в уверенности, что оно же есть оптимальное всечеловеческое право. Это не было иллюзией: мнение, что римское право есть единственное подлинное право, можно слышать и сегодня. В других попытках распространения своей власти на весь мир – у готов в V веке, у норманнов в IX–X веках – реальной силой было сознание достоинства, правоты предлагаемого образа жизни, полноты своего бытия.

Здравый смысл подсказывает, что задачи государства так или иначе должны перетекать в задачи целого мира⁶⁵. Государство всегда делает заявку на всю правду о мире. Характерным образом ответственные представители государств считают себя компетентными, от справедливости своего государства, высказывать нравственные суждения о международных делах. Заявка всякого государства, причем в первую очередь и чаще всего неправового, на право в смысле правды направлена как на весь мир, так и внутрь, на меня лично: государство намерено выдержать соревнование с моей частной правдой, если я диссидент, и государство уверено, что в споре со мной, если такой спор начнется, оно окажется более правым. От подданного ожидается, что он в конце концов признает правду государства. И наоборот: со своей стороны каждый подданный, каждый гражданин рассчитывает, по крайней мере надеется, что государство или, если его исполнительные органы коррумпированы, то сам глава государства должен рано или поздно услышать правду, понять ее, согласиться с ней. Гражданин ощущает своим правом и долгом напомнить государству о правде. Ожидается, что у государства, у главы государства есть ухо для слышания правды. По сути дела многое из того критического, что говорится критически настроенными журналистами и публицистами, имеет в виду эту предполагаемую готовность государства услышать правду.

Международное право при отсутствии единого всемирного правительства (*monarchia mundi* Данте) принимает форму уважения к государствам как правовым образованиям. Государства считают своим правом объединяться против неправовых образований, как Священный союз против Наполеона. Военное вмешательство мира грозит государствам, которые подали повод для вмешательства. В этом смысл выражения «справедливая война»: дело в конечном счете идет, пусть номинально, о восстановлении права в мире. При этом вовсе не

⁶⁴ С. А. Емельянов. Право..., с. 10.

⁶⁵ Подробнее см.: В. Бибихин. Путешествие в будущее // Наше положение. Образ настоящего. М., 2000, с. 300.

необходимо, чтобы нации, объединившиеся во имя справедливости, были каждая в отдельности воплощением права. В правовом отношении они могут стоять хотя бы и на том же уровне, чем наказываемое ими государство. Война будет вестись всё равно под знаменем идеала.

Государства соревнуются между собой в справедливости, причем каждое предлагает себя эталоном права, объединяясь против сил, которые нарушают право. Если весь мир станет одним государством, этого соревнования уже не будет, и придется бояться, что если всемирное государство пойдет путем неправа, не будет реальной силы для его исправления. То же опасение относится и к каждому отдельному государству. Спонтанная справедливость, о которой говорилось выше со ссылкой на Элиаса Канетти, устанавливается вовсе не сразу. Во всяком случае она требует открытости обсуждения и отсутствия внешнего давления. Только образование с честной борьбой внутри (вече, открытый спор партий) может рассчитывать, что в нем начнет работать саморегулирование. Когда новые национальные централизованные государства в Европе раздавили свободные городские республики Италии и новым московским государственным предприятием Василия III и Ивана IV был уничтожен Господин Великий Новгород, то прекратило существование общественное существо, которое еще было способно к саморегулированию и умело настроить себя на целый мир. Пусть неэффективный, разнообразно манипулируемый, но в конечном счете самоуправляемый *торг* имел внутри себя политический размах. В Москве борьба политических сил была наоборот всегда скрытной. Отсутствие внутреннего честного *ринга* в Москве оставило ей для отстаивания своей правоты только пробу сил в соревновании с окружающими государственными образованиями. Москва оставалась поэтому всегда зависима от самоутверждения во внешней политике.

Подойдем теперь к праву еще с одной стороны. При всякой попытке осмыслить его, просто задуматься о нем мы неизбежно столкнемся с тем фактом, что наши права урезаны кем-то, кто отнял, присвоил, удерживает их. Например, в качестве избирателей мы статисты, нужные для упрочения власти, которая управляет нами, при том что ее право использовать нас не безусловно и открыто для сомнений. Мы вяжемся в неравную борьбу на истощение, если хотя бы осведоим правящие инстанции об ущемлении наших прав. Власть по своей природе, как давно и повсеместно замечено, не заинтересована в том, чтобы повышать нашу правовую грамотность, ей удобнее наше спокойное подчинение.

В то же время те же самые мы каждым шагом своего существования отнимаем права, например, потомков на воздух, воду, чистую землю, прямо или косвенно, через наше согласие, участие в современном индустриальном обществе лишаем жизни животных, через наше пассивное согласие с политикой государства лишаем других людей права на свободу, на жизнь. Наша несправедливость неизмерима, если посмотреть, сколько живого мы тесним своим присутствием на земле. Несправедливость в отношении нас тоже необозрима, начиная с нашего отнятого у нас права на нефть и газ, на чистый воздух, на воду, которую можно было бы пить. Мы взвешены между нашим крайним бесправием и нашей собственной неправдой. По этой причине мы хватаемся за любое предложенное нам право, лишь бы оно показывало себя уверенным в себе. Без какого-нибудь права, пусть в конце концов временного, даже иллюзорного, мы потеряны между смертью, в которой мы виновны, и нашей. Мы нуждаемся в оправдании как в спасении. Закон в этой своей функции мне ближе чем я сам. Государство знает эту мою нуждаемость в праве; оно предлагает мне право, оно само и есть право. В обмен за эту услугу оно заявляет свои права на меня. Обеспечив меня правом, мне в моей взвешенности между двумя безднами необходимым как воздух, оно берет на себя право меня задержать, заставить пойти на войну, т. е. на смерть, может отнять у жены мужа, послав его на свои задания, отнять у матери сына; оно имеет право остановить навсегда деятельность человека пожизненным заключением. Государство имеет право, или

совсем недавно имело и снова может вернуть его себе, лишит меня жизни за измену ему, т. е. просто за переход в другое государство. Измена Родине еще недавно имела первой формой «переход на сторону врага», т. е. в юрисдикцию другого государства, и «независимо от характера наступивших последствий» наказывалась вплоть до смертной казни с конфискацией имущества⁶⁶.

Писаное, точнее, уставное право (объявленное, выкрикнутое глашатаем с базарной площади в бесписьменное время, которое окончилось собственно совсем недавно, было вполне уставным и не уступало напечатанному теперь на гербовой бумаге) может иногда идти против неуставного, лучше сказать – неофициального. Так было например с законодательным частичным запрещением продажи и употребления водки в 1986–87 годах. Официально объявленный сухой закон прямо противоречил обычаю, в котором водка, особенно в случае тяжелого не очень профессионального труда (например, погрузка и перевозка бревен), непременно входила в оплату. Неуставное право уходит корнями в природу, нравы, интересы и страсти. Законы иногда демонстративно восстают против власти факта и часто нехотя делают уступку нравам. Так князь Владимир ровно тысячу лет назад не столько узаконил принятием христианства питье вина, сколько допустил его. По «Повести временных лет» в записи под 986 годом он чуть было не склонился при выборе веры в сторону ислама ради многоженства.

Володимиръ же слушаше их [волжских болгар мусульман], бе бо сам любяще жены и блужение многое, и послушаше сладько. Но се бе ему не любо: обрезание удов и о неядении свиных мясь, а о питии отинудь рекъ: «Руси веселье питье, не можемъ без того быти».

Оглядка на Бога и на мудрость земли есть как в уставном праве, так и в неофициальном⁶⁷. Есть стало быть уровень закона (права) – мы об этом говорили – в принципе не эксплицируемый.

Итак, даже если по наивности и добродушию я этого пока не замечаю, закон заявляет на меня свои права как то, что сильнее, выше, раньше меня. Найти в себе опору, которая была бы сравнима по надежности и мощи с силой государственного принуждения, трудно. Ссылаясь на другие разработки и исследования, вкратце скажем только, что нечто сравнимое по основательности с правом государства я смогу найти только в свободе своего собственного. Пусть это звучит пока сейчас как загадка. Привативно, как еще не найденное, своё собственное оборачивается принудительностью и чужестыем права.

⁶⁶ ЮЭС..., с. 120.

⁶⁷ София диктует или отменяет в конечном счете и то и другое. Посильное следование ей уводит в невыразимое.

2. Ближайшие реалии⁶⁸

Мы перечислили таким образом главные черты и главные проблемы права. Эти черты и эти проблемы так или иначе выявляются при любом обсуждении права. Для того, чтобы не входить теперь в перебор мнений по этому вопросу, – что мнений может быть много и что они самые разные, читатель мог убедиться на своем примере, замечая, сколько у него возражений на говоримое здесь и сколько идей, которые не были упомянуты, – попробуем теперь сразу войти в реалии права. Теснящие нас реалии не зависят от человеческого мнения и решения. Они уходят в такую глубину, что у них неудобно проследить начало во времени и рискованно предсказывать их конец. Прикоснуться к настоящему можно только через ближайшее. Изучение обобщенных схем, например правовых идей и идеалов, здесь ничего не даст. Если бы мы жили в Германии, у нас был бы другой подход к теме права. Мы можем достоверно знать только то, что имеем в опыте. В нашей отечественной истории отчетливого опыта права и правового государства мы не имеем. Не будем спешить с оценкой, хорошо это или плохо. Не будем слушать и тех, кто считает разговоры о праве преждевременными, пока не построено правовое государство.

Как подтверждение почти всего, перечисленного выше, – невозможности эксплицировать обычаи, нравы, узус, этику, этикет в писаное правило; определяющей важности неписаного права и так далее, – рассмотрим некоторые наблюдения маркиза Астольфа де Кюстина в его записках путешественника «Россия в 1839 году». Это конечно не лучшее и не самое глубокое исследование права в нашей стране. Оно пригодно для нас однако тем, что в нем с птичьего полета непосредственно замечены и почти не доведены до толкования, т. е. оставлены в их простой данности, важные особенности нашего Востока Европы.

Эти особенности бросаются в глаза конечно каждому. Стало чуть ли не жанром публицистики на тему обустройства нашей страны описание парадоксальных свойств России в ее отличии от Запада, большей частью идеализированного и воображаемого. Возьмем буквально первую попавшуюся, а именно подобранную из груды макулатуры, выброшенной из библиотеки Института философии, книгу «Как сделать Россию нормальной страной» социолога Матвея Малого, вернувшегося в Россию после американской эмиграции. Мы находим здесь эффектные характеристики, с которыми скорее всего спокойно согласимся. Автор, хотя и настаивает на них, не считает их окончательными и просит совершенствовать их на сайте www.change-russia.ru.

Когда англичанин пытается найти в словаре русского языка эквивалент английскому слову law, он находит «закон». Однако в России не проще найти то, что англичанин понимает под словом law, чем в Таиланде – белого медведя. Законы, которые существуют в России, должны быть изучены сами по себе, как некая особая данность, а не как странная интерпретация западной версии законов. Россию надо изучать как отдельный самодостаточный феномен, а не в сравнении с какой-то другой цивилизацией⁶⁹.

От сравнений, однако, удержаться очень трудно, и против собственного решения автор проецирует Россию на фон правовых государств (идеализированных) с тысячелетней традицией собственности.

⁶⁸ <МГУ 18.09.01; ИФ РАН 24.02.02>.

⁶⁹ Матвей Малый. Как сделать Россию нормальной страной. М.: Пробел, 2000, с. 9.

Главная отличительная черта российской цивилизации – отсутствие концепции частной собственности [отсутствие в общественном сознании места для частной собственности]. Собственность как бы висит в воздухе, напоминая туго натянутый тент, к которому со всех сторон тянутся руки. Права на собственность у всех под вопросом, поэтому владение частной собственностью в России может быть только временным⁷⁰.

Невероятная быстрота образования больших имуществ во время последней финансовой революции сделала каждое из них не совсем правовым и имеет своим зеркальным отражением непонятно легкое согласие с отнятием этих имуществ.

Для того, чтобы обладать собственностью без риска для жизни, надо вступить в союз с сильными мира сего, что означает частичную передачу собственности. С любовью относиться к этой собственности нет смысла: она только условно твоя.

Если в Германии в поле, используемом под посевы, находился булыжник, то сейчас его там нет. Лет восемьсот назад немцы его подобрали и использовали на постройку каменного дома. В России булыжник до сих пор лежит посередине поля, будто русские пришли на это поле недавно или не собираются его обрабатывать. Жители России не верят в то, что они владеют собственностью, и потому не могут по-хозяйски обладать ею. Это качество сбалансировано другим уникальным свойством: русская культура избегает материального.

Немец знает, как всё должно быть, потому что он может до всего дотронуться или найти в своем своде законов. Русские предпочитают вместо законов каждый раз оценивать ситуацию заново.

Ключ к пониманию российских законов в допущении, что подсознательно каждый человек в России считает себя богом и как к богу относится к нему и закон.

В России всегда законы были плохие, но их никто не выполнял. От этого веет духом свободы. Хороший закон выполнять всё равно бы не стали: не для богов законы писаны. Законы плохи, наказания жестокие, а с другой стороны, законов как бы и нет⁷¹.

Привыкший на Западе стоять на пешеходном переходе перед красным светом, автор испытывает крайнюю неловкость за свою законопослушность в России.

Выполняя закон, ты испытываешь чувство стыда. Окружающие начинают думать, что ты чего-то испугался, так как никому не приходит в голову, что тут может быть еще какой-то мотив, кроме страха наказания. Так как гражданственность и уважение к другим в России не могут служить мотивом следования закону, я для себя придумал иной мотив – рассеянность. Если на перекрестке окружающие идут на красный свет, я ожидаю зеленого с самым рассеянным или мечтательным выражением лица, призванным сказать: «Я и сам люблю перебежать на красный, но вот что-то вспомнил, задумался»⁷².

⁷⁰ *Матвей Малый*. Как сделать Россию нормальной страной. М.: Пробел, 2000, с. 9.

⁷¹ *Матвей Малый*. Как сделать Россию нормальной страной. М.: Пробел, 2000, с. 15.

⁷² *Матвей Малый*. Как сделать Россию нормальной страной. М.: Пробел, 2000, с. 20.

Россия состоит из общежития существ, которые божественно независимы и самоуправны, но, с другой стороны, как нематериальные боги ни сами для себя не требуют, ни для других не заботятся о человеческой нужде в защите законом и правами.

Российское общество продолжает объявлять себя состоящим из богов, а боги либо не нуждаются ни в какой защите, либо становятся беззащитными до такой степени, что их можно уничтожать миллионами. Россиянин возвращается из Франции домой убежденный, что люди в России намного теплее, добрее и участливее. И это действительно так. Но то же самое доброе участливое российское общество недавно истребило десятки миллионов своих сограждан. На Западе каждый человек считается обладающим своим частным пространством, куда не принято залезать никому. В России у человека нет никакого частного пространства, потому что он не считается личностью, обладающей собственностью на то место, где он находится, поэтому с ним легко разделить последнюю рубашку и так же легко уничтожить его.

В России жестокость направлена не на человека. Человека как такового российская жизнь еще не открыла, еще не осознала для себя. Русские – добрый народ, и то, что кажется жестокостью, есть просто стиль отношений между богами. Бог и выдержать может всё, и не нуждается ни в чем⁷³.

Угадано важное.

Обратимся к маркизу де Кюстину. Право, с которым он на нашем востоке Европы встретился, он с хорошим чутьем опознал сразу как в основном неписаное; уставным законодательством он соответственно мало интересовался. У Кюстина видно, что описание нравов невольно не остается на уровне объективности, становится нравственной оценкой. И это конечно ведет к тому, что описанием объект уродуется. Но это естественное искажение с избытком компенсируется здоровой противоречивостью кюстиновских оценок. Увидев одну сторону, он потом замечает и противоположную. Его оценки России на хорошо-плохо тоже сплошь амбивалентные. (Чистый пример полной противоположности, Библия, где например ни Авраам, ни Сарра, ни фараон не оцениваются на хорошо-плохо в истории выдачи жены за сестру, тоже конечно оставляет в полной неопределенности современного человека, настроенного на отчетливость этических оценок и видящего в этой истории как минимум обман, а за ним и что-нибудь хуже.) Прав один читатель его книги, его современник:

И черт его знает, какое его истинное заключение, то мы первый народ в мире, то мы самый гнуснейший!⁷⁴

Кюстин ведет все черты русских, например тягостную лень, от самодержавия. Деспотическое самодержавие для него, монархиста, но уважающего свободу и право, конечно отвратительно. Притом он с интимным сочувствием относится к царю, с которым ему довелось говорить. Сочувствие переходит в настроение. Настроение сливается с погодой и климатом. Они в России разные, но достоинство Кюстина в том, что он не выходит к обобщениям и усреднениям, а отдается первому попавшемуся – петербургскому – настроению. Отдаться настроению, какому угодно, времени и месту, всегда вернее чем искать в схемах более надежной опоры.

⁷³ Матвей Малый. Как сделать Россию нормальной страной. М.: Пробел, 2000, с. 24 сл.

⁷⁴ Письмо московского почт-директора А. Я. Булгакова к П. А. Вяземскому от 22.12.1843/3.1.1844 // НЛЮ 1995, № 126 с. 124. Цит. по: *Астольф де Кюстин. Россия в 1839 году...*, Т. I, с. 396. <Далее ссылки на номер тома и страницы этого издания в тексте в круглых скобках>.

[...] Вечера здесь промозглые, ночи светлые, но туманные, дни пасмурные; в таких условиях предаваться раздумьям – значит обречь себя на невыносимую тоску. В России разговор равен заговору, мысль равна бунту: увы! Мысль здесь не только преступление, но и несчастье (I, 145).

В Россию Кюстина привело тоже чувство, страсть: интимная привязанность к другу поляку, разделенное с ним негодование от недавнего подавления и наказания Польши и дерзкая мечта в России выпросить у царя возвращение имения этому другу, Игнацию Гуровскому (1812 или 1813–1884); не удалось; поместье Гуровского было в октябре 1841 года окончательно конфисковано, и горечь от этого тоже вошла в книгу Кюстина.

В свете живого настроения блекнет схема осуждения самодержавия, произвола и остается чувство – непосредственное, тоже до страсти (смесь ужаса и восторга) впечатление от этой страны, России.

Что за страшная сила [...] судьба, мощь, воля целого народа – всё пребывает в руках одного человека. Российский император – олицетворение общественного могущества; среди его подданных [...] царит то равенство, о каком мечтают нынешние галло-американские демократы, фурыеристы [...] Эта колоссальная империя, представшая моему взору на востоке Европы, той самой Европы, где повсюду общество страдает от отсутствия общепризнанной власти, кажется мне посланницей далекого прошлого. Мне кажется, будто на моих глазах воскресает ветхозаветное племя, и я застываю у ног допотопного гиганта, объятый страхом и любопытством (I, 147).

Тоска, ужас, ненависть, убийство, жалость, вот параметры русской реальности. Область права, закона, правового государства – где она? Правят страсти. Здесь сколько угодно места для схем, обобщений, рассуждений о гражданине, его правах, но всё это у Кюстина переплетено с тем, как он на себе переживает действительность этой страны.

Русское правительство – абсолютная монархия, ограниченная убийством, меж тем когда монарх трепещет, он уже не скушает; им владеют попеременно ужас и отвращение. Деспоту в его гордыне потребны рабы, человек же ищет себе подобных; однако подобных царю не существует; этикет и зависть ревностно охраняют его одинокое сердце. Он достоин жалости едва ли не в большей степени, нежели его народ (I, 148).

А народ? Он врос в землю, слился с ней. За этой его поглощенностью землей все другие обстоятельства его жизни уже менее важны. Вопрос о земле оказывается главным. Крепостное право в смысле принадлежности крестьянина помещику на фоне принадлежности крестьянина земле отступает на второй план. Помещик вклинивается в интимное отношение крестьянина к земле как чужеродное тело.

Во многих областях империи крестьяне считают, что принадлежат земле, и такое положение дел кажется им совершенно естественным, понять же, каким образом люди могут принадлежать другим людям, им очень трудно. Во многих других областях крестьяне думают, что земля принадлежит им (I, 151).

Люди принадлежат земле или земля принадлежит им? В каком смысле принадлежит им, <в смысле> частной собственности? Именно нет. В каком-то другом. В таком, что не отчетливо ясно, земля ли принадлежит людям или люди земле. Отношение к земле очень важно в России, и в нем обязательно надо разобраться. Если конечно теория для нас это не

еще одна конструкция, гипотеза, а то, что теория и означает – вглядывание в то, как вещи показывают себя.

Вообще говоря, то, что земля принадлежит людям, не мешает тому, чтобы люди принадлежали земле. Взаимопринадлежность народа и земли здесь глубже, чем юридическая принадлежность. Мы все интуитивно, по крайней мере, ощущаем, что земля одновременно конечно наша, хотя вместе с тем ничья конкретно. Мы начинаем себя чувствовать совершенно иначе, непривычно и неуютно в Латвии, когда, собирая чернику, останавливаемся перед протянутой веревкой, или в Италии, где, как говорил один разочарованный переселившийся туда русский, лесов нет, хотя их там сколько угодно, но нельзя по ним бродить как в России: вы идете по общественным дорогам и маршрутам, остальное или частное, или там, например в горы, принято ходить только организованно, сообщив государственным инстанциям; так, идя собирать грибы, мы в России должны были <бы> заявить в милицию маршрут. Писатель и историк Юрий Мальцев обосновывал свой отъезд в Италию в 1975 году недостатком свободы в России, но тосковал в Италии по свободе просто бродить по стране, а не только по огороженным и кому-то юридически принадлежащим участкам.

Частное владение землей, хуторское, отрубное хозяйство, которое вводил Петр Столыпин и которое неуверенно вводится сейчас, проходит на поверхности, не задевая интимного отношения народа к земле. Вместо отчетливости распределения – эта земля твоя собственность, здесь твои права, та моя, – коллективизация восстановила туманную принадлежность земли: она *вся* принадлежит трудовому крестьянству, но крестьянину принадлежит только двадцать соток. Сбылось пророчество Льва Толстого:

Русская революция не будет против царя и деспотизма, а против поземельной собственности. Она скажет: с меня, с человека, бери и дери что хочешь, а землю оставь всю нам. Самодержавие не мешает, а способствует этому порядку вещей. – (Всё это видел во сне 13 Авг.)⁷⁵

Толстому настолько ясно простое, только юридически сложное, положение вещей в России, что он не смущается противоречием того, что записывает: революция будет против *собственности*, для того чтобы вся земля осталась *наша*. То, что увидел Толстой во сне 13.8.1865, относительно тихо, почти само собой произошло в 1929 году, быстро отменив всю частную собственность на землю и уж совсем легко – кооперативную. Что об этом обычном праве России никто сейчас по-настоящему не думает, показывает только, как привязанность к земле – *она вся наша, поэтому никому ее в собственность не отдадим и сами тоже не возьмем* – умеет постоять за себя, спрятаться и сохраниться. Легкомысленные умы блефуют, когда говорят, что семидесятилетнее обобществление собственности в СССР было уникальным в истории. Только не в истории России, где срывалась всякая попытка на протяжении веков закрепить земельную собственность за человеком. Крепостное право было бы невозможно, если бы помещик был владельцем земли в западном смысле, а не получил землю условно за государеву службу; помещичья земля была пожалована ему государем, могла быть и отнята, и государевой, т. е. ничьей, была вся земля. Крепостной был в важном смысле владельцем полнее и свободнее помещика, потому что сидел на земле и был одно с ней, а помещика присылали на его землю.

Теперешний бедный неимущий в отличие от нового владельца покупает этой своей бедностью чувство хозяина всей земли. Увиденное Львом Толстым во сне продолжается до сих пор; русский говорит: «с меня, человека, бери и дери что хочешь, а землю оставь всю нам».

⁷⁵ Л. Н. Толстой. Собрание сочинений в 22-х тт. Т. 21. Дневники 1847–1894. М.: Художественная литература, 1985, с. 260.

Земельная реформа последнего десятилетия, казалось бы, ликвидировала государственную монополию на землю. Но юридическое переоформление земли на крестьян ничего в сущности не изменило. Насколько сильна потребность, чтобы земля была наша, настолько же это «наша» не сводится к формальному праву, юридическому оформлению. В сообщении из одного сельского района Воронежской области читаем:

[...] Крестьяне [...] стали собственниками земельных долей. Но поиски нового удачи не принесли: хозяйство из прибыльного стало убыточным, рабочим перестала выплачиваться заработная плата, долги кредиторам росли. Руководство ощущало свою беспомощность, а люди чувствовали себя неуверенно и незащищенно, с ними стало тяжело работать и просто общаться [...] Если не принимать экстренных мер, через пять-шесть лет фермер останется один на один с грудой развалившейся техники и заросшим сорняками полем⁷⁶.

Юридическое (пере)оформление собственности на землю проходит как в нереальной области и ничего не меняет в ощущении всей ее как своей.

Человеку, постоянно живущему и работающему на земле, самой важной и насущной представляется не обсуждаемая так горячо в городе проблема купли-продажи земли. Гораздо важнее грамотное и добросовестное инвестирование, грамотное землепользование и грамотная система налогообложения. Если эти условия соблюдать, русский крестьянин вернет себе славу настоящего хозяина своей земли.⁷⁷

Ту же трудную для понимания ситуацию, когда наша принадлежность к земле сливается с принадлежностью нам земли и *не сводится к юридической собственности на землю*, видел в России маркиз де Кюстин.

Величайшее несчастье, которое может приключиться с этими людьми-растениями, – продажа их родной земли; крестьян продают обычно вместе с той нивой, с которой они неразрывно связаны; единственное действительное преимущество, какое они до сих пор извлекали из современного смягчения нравов, заключается в том, что теперь продавать крестьян без земли запрещено (I, 152).

Разница между нашим, чувствующим нас, Толстым и Кюстином, который приехал к нам с навыками римского права и священной юридической собственности, в том, что по Толстому *наша* земля реальность, для Кюстина *нашесть* земли без полного, обеспеченного правами личности юридического оформления есть лишь иллюзия. Россия не правовое государство, поэтому о собственности говорить не приходится, земля принадлежит народу только в воображении. Для Кюстина недостаточно знать и видеть, что прочного собственника земли нет, чтобы верить самоощущению крестьянина. Для Толстого, наоборот, *наша земля* настолько важная реальность, что в ситуации фактической непринадлежности земли никому – далекому царю всё равно что никому – нищий крестьянин свободен как царь или, Толстой говорит в одном месте, как Робинзон, рискующий и одинокий вольный хозяин на своем необитаемом острове.

Для Кюстина русский крестьянин только воображает себя хозяином земли, ведь совершенно ясно видно, как хлебосольный столичный аристократ ободрал, обобрал, подсчиты-

⁷⁶ <Периодический политический журнал> Гражданин (учредитель Общероссийское политическое общественное движение в поддержку Вооруженных Сил «Гражданин»), № 3, февраль 2002, с. 8.

⁷⁷ <Периодический политический журнал> Гражданин (учредитель Общероссийское политическое общественное движение в поддержку Вооруженных Сил «Гражданин»), № 3, февраль 2002, с. 8.

вает Кюстин, столько-то крестьян, чтобы иметь серебряный поднос, кофе со сливками и булочку утром, карету, поездку на воды в Германию.

Он – вещь, принадлежащая барину [...] хозяин видит в его жизни не что иное, как мельчайшую долю той суммы, что потребна для ежегодного удовлетворения его прихотей (I, 154).

С этой особенностью страны, отсутствием отчетливой, жесткой собственности на землю и соответственно на что бы то ни было (вспомним, как легко отдали свою собственность собственники в революцию, как легко расстаются люди со сбережениями в инфляцию), связано отсутствие среднего класса в России. Кюстин:

В стране, где нет правосудия, нет и адвокатов; откуда же взяться там среднему классу, который составляет силу любого государства и без которого народ – не более чем стадо, водимое дрессированными сторожевыми псами? (I, 250)

Собственно, богатые и бедные – от природы. Когда общество оставлено природе, как деревья в лесу из общей ровной массы выдаются высокие и неудачные. Но ровный нищий лес рядом с богатой рощей без промежутка среднего означает, что почва была по-видимому сдвинута. Тут могло быть только вмешательство насилия, а не органический процесс. Не органика. Хорошее наблюдение:

Здесь [...] богатые – не соотечественники бедным (I, 289).

Как странное русское владение землей для Кюстина с его европейским опытом ненормально, так же и отсутствие среднего класса в России. Для Толстого резкая разница между бедностью большинства и богатством немногих, конечно, скандальна, но отсутствие среднего класса не проблема и не беда; он вполне может представить, лишь бы не было вредного влияния со стороны богатых, бедную крестьянскую Россию.

Для Кюстина отсутствие среднего класса признак какого-то силового вмешательства в естественный природный процесс расслоения. Для исправления этого очевидно бывшего насилия – ранней оккупации – он считает нужным противонаправленное усилие.

Всякому обществу, где не существует среднего класса, следовало бы запретить роскошь, ибо единственное, что оправдывает и извиняет благополучие высшего сословия, – это выгода, которую в странах, устроенных разумным образом, извлекают из тщеславия богачей труженики третьего сословия (I, 154).

Интересно, что приговор «русские сгнили, не успев дозреть» относится у Кюстина только к богатым, которые из-за неестественности (смещенности почвы) не могут быть собственно настоящими богатыми, они ложь, в чем только их – даже не в насилии над большинством – и винит Кюстин. Стране без среднего класса, говорит он, негде взять достаточное количество хорошо обученных в школах мастеров (для строительства, эстетической отделки, для воспитания), она берет профессионалов на стороне, на Западе, срыв сначала почву для своего среднего класса, т. е. искусственно подорвав его.

Это неестественное разделение мы встретим на нашем востоке Европы рано. Например, в правовом документе X–XI веков, Русской Правде, заметно различие виры, штрафа за убийство, 80 гривен за тиуна князя в городе, т. е. среди его граждан, и только 12 гривен за того же тиуна князя, но сельского; столько же за полевого бригадира, ратайного, с различием между городом и селом как между оккупантами и населением. Территория отвечала за безопасность представителей власти, которые на ней появлялись, и автоматически

наказывалась за ущерб ему. Та же круговая порука сельского населения продолжалась во времена Кюстина.

Обычай, обычное право, а именно общинное, общественное владение землей, без закрепления ее за юридическим владельцем, сосуществует – на протяжении веков – со спущенным сверху, из правящей военно-государственной силы, законом. Неюридический, реальный владелец земли, если можно так сказать, – интимный, сросшийся с землей натурой, нравом и родным языком, – откупается от пришедшего со стороны правителя тем, что идет к нему в подчинение. Он отдает власти при этом себя, свою силу, свое время, но не свою землю и не свою почвенную связь с ней. Юридически земля может принадлежать тому, кому определит утвердившаяся власть, однако связь с ней формального владельца непрочная, неорганическая. Она ограничивается получаемым с земли доходом, первоначально данью. Коренной житель срастается с почвой и подобно почве позволяет наступить на себя, топтать себя. Такое отношение человека к земле и оккупанту подробно описано западными социологами на старом традиционном отношении черных к белым в Америке. Подчинение черных здесь было разыграно, часто комически подчеркнуто. Игра в подчинение принадлежит к стратегии покоренного класса, который именно в силу своего низшего положения оказывается ближе к почве, к земле. Подчиненный хочет быть или казаться как можно ниже. Положение под ногами правящих через розыгрыш перевертывается в отношении превосходства, насмешки, покровительства, показной добродушной или скрытой манипуляции хозяином.

Можно называть разными словами – земля, натура, нрав, почва, низ, беря их почти наугад, – вещь осязаемую, более надежную чем ее определения. Я имею в виду связь человека с землей, которая укрепляется, например, поколениями выживания на земле без посторонней помощи. Эта укорененность ощущается и не бросается в глаза. Сила, блеск власти бросаются в глаза. Кюстин видит реальную беспомощность красиво одетых в орденах и чиновных отличиях упитанных начальственных тел и нестойкость правящей пирамиды, которая держится не своим трудом, а задавленным основанием пирамиды. При виде нестойкой постройки становится ясно:

Или цивилизованный мир не позже, чем через пять десятков лет, вновь покорится варварам, или в России свершится революция куда более страшная, чем та, последствия которой до сих пор ощущает европейский Запад (I, 157)⁷⁸.

Наполеон тоже предсказывал, что Европа станет казацкой, если не станет республиканской. Революцию видели вблизи в те годы Мицкевич, Белинский и многие другие. Интересно ощущение угрозы от русского порядка. Наполеон оправдывал свой поход на восток тем, что Европа неблагополучна и не в безопасности, пока на Востоке высится эта неопределенно громадная величина, Россия. Как государственное образование она многим видится шаткой, нестабильной, колоссом на глиняных ногах, гнилой стеной. Угроза стало быть не в государстве – Европа в предсказании Кюстина покорится варварам, не царю, – а в восточной стихии. Чередующиеся самодержцы в России скорее сдерживают стихию и охраняют от нее Европу. Имя самой стихии остается неизвестно; неизвестность, скрытность, непросвеченность – одна из ее черт.

В России всё покрыто тайной, на всём лежит печать главной здешней добродетели – сдержанности; всякий почитает большой удачей лишний раз выказать свою скромность (I, 158).

⁷⁸ К. Леонтьев боялся революции, которую ждал от тех же причин (республиканского европейского уравнивания).

Это и частые сходные замечания Кюстина говорят о скрытности рабов в деспотии. Как если бы свободный, Кюстин, мог высказать тайну. Но и он ее не знает. Деспотия уходит в склад, уклад народа. Восток, даже если это восток Европы, загадочен.

О России легко высказать целый набор очевидной критики. Стандартный диссидентский набор кюстиновского времени включает самовластие, бесправие в смысле отсутствия сколько-нибудь отчетливого права, беззаконие, угнетение большинства, рабство; несоразмерно большая часть населения в заключении, политические узники на цепях в страшных подвалах, замерзающие до смерти в мороз извозчики, которые вынуждены дожидаться господ на улице хорошо если возле костров, сокрытие числа солдат, гибнущих на маневрах, порка крестьян, продажность судов, чинов. Эти сведения Кюстину охотно предоставляют его информанты, вовсе не только поляки и другие иностранцы в России, но и сами русские, легко проговаривающие всю эту критику о своей стране. Точно так же как на любого иностранца-путешественника и в XI веке, и в XVI, и в XX, и в XXI честный житель этой страны выгружал примерно одинаковый набор справедливой горечи о своей ситуации. Чутье между тем подсказывало Кюстину, что в однозначном черном отчете о России есть такая же, разве что противоположная, неправда, как и в потоке официальной пропаганды, которая выдавала картину превосходного благополучия, щедро расходуя средства на издания, на ухаживание за пишущим посетителем-иностранцем.

К устройству своего государства и права в странах Запада, Америке, Германии, Франции относятся более деловито и почти так же прагматично, как к устройству своего домашнего хозяйства. Устройство может быть похуже или получше, но это более или менее технический вопрос. В нашей части мира, не только у нас, но и например в странах Ислама, строй чаще чем об административных недостатках заставляет думать о правде и неправде, вере и Боге, о последних вещах (о смерти, о цели жизни). Для западного человека экзистенциальные проблемы в полной мере существуют, но скорее отдельно от проблем администрации, выборов, налогов. Наоборот, среди наших реалий в метафизику – в проблемы добра и зла, доброты, искренности, лжи, сокрытия, человеческого своеволия, самоуправства и в решение этих проблем – внедряешься быстро почти при первой же встрече с милиционером, с органами местного самоуправления.

Метафизический воздух среды заражает Кюстина. Он живо задевает сокрытием в России главных вещей – неискренностью, уклончивостью в разговоре о силе, власти, источниках богатства. Непосредственности чувства и свободы слова Кюстин не видит ни у кого. Следовательно, он ожидает этого здесь от *всех*. Во Франции у себя ожидать честности, прямоты, достоинства он мог, но требовать исповедальной честности ему не пришло бы в голову, и понятно почему. В устроенном правовом государстве, где вопросы упорядочения общества во многом решены, почти каждый встречный погружен в свое конкретное дело, профессию, корпоративные интересы, общественные связи; к французам так просто с разговором о последних вещах, о добре и зле, не подступишь. У русских, наоборот, как замечает сам Кюстин, из-за общей неустроенности ни у кого нет своего твердо определенного дела, поэтому для всех на передний план выступает и преимущественно обсуждается по существу только одно дело центральной власти.

В истории России никто, кроме императора, испокон веков не занимался своим делом; дворянство, духовенство, все сословия общества изменяют своим обязанностям (I, 157).

Русским таким образом в отличие от занятых своим делом французов естественно говорить о последних вещах, о жизни и правде; им кроме этого делать, строго говоря, нечего. Для Кюстина в России отчаянно не хватает божественных даров душевного чувства и вольного слова у всех. Так ему не хватает античной гармонии в русских литературных и архи-

тектурных подражаниях. Он ее ищет потому, что уже увидел в России древность в ее натуре; он не находит ее в искусстве. О. А. Седакова как-то сказала, что в России многого нет, но среди этого многого есть такое, чего нет именно только здесь. Здесь вспоминается Рильке: Россия граничит с Богом.

Кюстин ощущает себя единственным философом и писателем среди немого народа «в стране, где никто не пишет и не разговаривает» (I, 169) – где все пользуются речью только чтобы скрыть главное и не сказать ничего важного от чувства и от сердца. Но, отказывая этому народу в непосредственном чувстве, Кюстин не отказывает ему в чутке. В самом деле, надо иметь интуицию, чтобы уметь скрывать именно самое важное.

Что чуткость у этого народа есть, говорит музыка.

Церковное пение звучит у русских очень просто, но поистине божественно [...] музыка заставляет забыть обо всём, даже о деспотизме (I, 172).

Деспотизм перестает ощущаться в самом низу, где близость к земле и опора на нее дает природную силу. Но деспотизм не чувствуется и вверху, с приближением к центру власти, к самому императору. Он оказывается не деспотом, а подчиненным и служащим, причем по более строгим правилам чем его подданные. Николай I, высокий и красивый немец, едиличный хозяин 60 миллионов человек, никому в мире не подвластный, никого не имеющий выше себя на небе и земле, честно подтягивается к высоте своей нечеловеческой миссии. Страдальчески скованная фигура в сознании невыполнимого, небесного долга – такая фигура будет конечно как магнит притягивать к себе мечтой о нем и, странно сказать, жалостью. Кюстин, вообще непосредственный в своих впечатлениях, дает на себе разыграться всему диапазону чувств русского подданного к императору, вплоть до интимности отношения к единому верховному правителю и до убеждения, что только я один, разговорившись с ним, послав ему сообщение, поделившись своим мнением, искренно по душам перед Богом мог бы поведать одинокому правителю тайну страны; я защищу его от коварства, я дам бескорыстный совет, ведь у всех окружающих его корысть, я один чист. Подданный при едиличном правлении ни с кем так не близок как с верховным властным лицом.

Я, догадывающийся о том, чего стоит ему исполнение монаршего долга, не хочу оставлять этого несчастного земного бога на растерзание безжалостной зависти и лицемерной покорности его рабов. Увидеть своего ближнего даже в самодержце, полюбить его как брата – это религиозное призвание, милосердный поступок, священная миссия (I, 180).

Мистика едиличной власти такова, что один только верховный печальный правитель и никто другой открыт мне, честному бесхитроственному; только ему я могу довериться и только мне он. Кюстин хочет простой силой непосредственности очаровать императора. В императоре чувствуется что-то внушаемое, женское. Отношения с ним подданного в бездонной глубине эротические. Верховный властитель в своем задумчивом отдалении ждет как послушная горячая самка поучения, внушения со стороны своего любимого подданного. В центре государственного вихря стоит одинокая жертвенная фигура, желающая одного: научи меня, направь, слейся со мной в единомушью. От успеха этого нежного отношения между правящим и подданными, от их любящего единства зависит успех государства.

У верховного правителя нет личных дел и проблем. Он, одинокий, всей своей жизнью существует только ради нас, его народа. У него не может быть нужд кроме высокой думы о судьбе страны, потому что все другие заботы я, подданный, возьму с радостью вместо него на себя. Если ему что надо, даже жизнь, я отдам ради него. Прежний царь, правитель мог иметь свои страсти, поступать в корыстных интересах, новый пришел очистить всё. Он воплощение права? Больше чем права: наконец-то лучшего, мудрого устройства. Правитель

конечно человек, но особый и более близкий мне чем я себе. Он эталон, образец. Я перед ним себя чищу, выверяю, ему хочу показать только лучшего себя. Он *единственный* человек. Божественный? Может быть. Почему бы и нет. Он кроме того, возможно, просто лучше и умнее нас. Во всяком случае, своей единственностью он выделен из всех нас. То, что одновременно я знаю и думаю о нем как о таком же слабом и со страстями как я, не мешает мне делегировать ему мои ожидания. Он будет лучше меня хотя бы потому, что я на это надеюсь.

Это отношение ожидания бездонное. Бесконечно много и властитель может ожидать от народа самой богатой землей и недрами страны мира; хотя бы ввиду его могущества от него тоже могут ожидать бесконечно много. В другого можно вложить все надежды, когда вкладываешь в него право и мощь целого государства. Предполагается, что в конечном счете все взаимно ожидают блага. Я, переносящий в него мое лучшее, и он, готовый к тому, чего от него ждут, – оба мы оказываемся не сами, не свои, оба следим за тем, чтобы всё было хорошо не только для нас. Мы оба как в театре, разыгрываем роль, выступаем на сцене. Кюстин наблюдает императора на венчании дочери в соборе:

Император [...] ни на мгновение не забывает об устремленных на него взглядах; он ждет их. [...] Ему], кажется, еще в новинку то, что происходит на его глазах, ибо он поминутно отрывается от молитвенника и, делая несколько шагов то вправо, то влево, исправляет ошибки против этикета, допущенные его детьми или священниками.

[...] Жених стоял не на месте, и император заставлял его то выходить вперед, то отступать назад; великая княжна, священники, вельможи – все повиновались верховному повелению, не гнушавшемуся мельчайшими деталями (I, 162, 168).

Той же выправке император подчинял и себя. Кюстин, чтобы не тонуть в трудном вопросе, перед каким зрителем в конечном счете играет это человечество с вождем во главе, успокаивается на предположении, что вождь знает, куда он ведет свой народ. Кюстин тут упрощает, что видно по его непоследовательности. Против упрощающего решения, что в этой империи только один по-настоящему живой человек, государь, говорит его же собственное наблюдение, что всё движение вокруг императора – это репетиция, которая никогда не кончится, потому что никогда не будет одобрена им вполне⁷⁹.

Внимание 60 миллионов человек сосредоточено на императоре, поглощено им. Кюстин заморожен этим имперским театром. Николай I привязывает его к себе чувством вызываемой императором необъяснимой жалости (I, 211). Француз не может растолковать ее причину.

Государство стоит таким образом не на правовых отношениях, например на договоре правительства с населением, а на интимных, чувственных, эротических отношениях народа к правителю. Фигура верховного правителя такова, должна быть такой, чтобы привлекать. Сальвадор Дали признавался, что Гитлер снился ему в нежных снах. В двенадцатилетие Третьего рейха женщины и девочки любовно и тщательно украшали большие портреты фюрера цветами и лентами. Кюстин отдается, словно ставя опыт над собой, встрече с императором. Император знает свое обаяние и заставляет тянуться к себе. Кюстин, как шар в лунку, попа-

⁷⁹ «Ни один из них не знает своей роли, и день премьеры не наступает никогда, потому что директор театра никогда не бывает доволен игрой своих подопечных [...] И актеры, и директор растрачивают свою жизнь на бесконечные поправки и усовершенствования светской комедии под названием “Северная цивилизация”» (I, 180). На нашей памяти перед всем миром в нашей стране разыгрывалась тоже небывалая цивилизация, другого названия. Нас интересует, перед каким зрителем. В отдании моего интимного ожидания лицу, ожидающему от меня близости и верности, ничего в сути дела не меняет мое знание, например, его недостойности. Мы не одиноко брошены в безответную пустоту. В игре участвуем не только мы двое, а еще третий, зритель, перед которым я и он такие, какие должны быть. Кюстин разными именами называет этот показ себя невидимому зрителю.

дается в ловушку интимного отношения к государю. Он находит в себе то свойство, которым в свою очередь чувствует себя способным, один из всех, привлечь государя; это всё то же, сцепляющее в одно десятки миллионов, желание сказать высокому человеку всё, честно и открыто, как другие не умеют, как знаю в глубине души только я.

[...] Быть может, наконец, заговорил в нем инстинкт человека, что долгое время не слышал правды и теперь надеется, что раз в жизни [!] встретился ему характер правдивый (I, 216).

Кюстин переживает на себе тайную механику этой империи. Он живо ощущает власть царского присутствия, часто видит себя единственным, самым нужным для императора; очарование и жалость приковали его. Сходные чувства, прибавим страх и ожидание даров, призывают к царю каждого из 60 миллионов прочнее любых законов.

3. Государство-семья

Интимные внутрисемейные отношения оказываются основой этого государства, большой семьи. Читая Платона, мы слышим о химическом родстве вокруг царя в государстве как в пчелином рое. Тот же Платон однако представляет себе и другое государство, чем связанное интимной семейной связью, а именно полис, где «надо, сойдясь всем вместе, писать постановления, стараясь идти по следам самого истинного устройства политики»⁸⁰. Это государство мы называем правовым. То, которое описывает Кюстин, конечно ближе к семье. При отце народов и родной партии сохранялось и продолжается до этих наших дней сложное смешение государства-семьи с номинально правовым конституционным государством. Не будем спешить говорить, что на Западе нет такого же смешения.

Выражение *семейное право* относится к тем положениям общего государственного права, которые распространяются на внутрисемейные отношения. В главе 1 действующего семейного права читаем:

Ст. 1. Признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского состояния.

Ст. 16.1. Брак прекращается вследствие смерти или вследствие объявления судом одного из супругов умершим.

Ст. 16.2. Брак может быть прекращен путем его расторжения по заявлению одного или обоих супругов.

Ст. 17. Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка.

Мы ощущаем в этих статьях закона что-то диссонирующее с тем, что обычно понимается под семьей. Пункт 1 статьи 31 объявляет каждого из супругов свободным не только в выборе рода занятий и профессии, но и мест пребывания и жительства. Это явно идет против обычного права. Когда один из супругов начинает жить отдельно, говорят: разве это семья, они живут врозь. С точки зрения писаного семейного права здесь нет ни малейшего нарушения. Статьи о совместном имуществе супругов настолько противоречат нормам обычного права, что их бывает трудно осуществить на практике:

Ст. 34.1. Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью.

Ст. 34.2. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты.

Неработающая жена в обычном праве довольствуется тем, что даст ей муж. Согласно писаному закону любой доход мужа подлежит разделу поровну.

Ст. 34.3. Право на общее имущество принадлежит также супругу, который в период брака⁸¹ осуществлял ведение домашнего хозяйства.

⁸⁰ Платон. Политик 301 de. <См.: Платон. Соч. в 3-х тт. Т. 3 (2). М.: Мысль, 1972, с. 69>.

⁸¹ А не только воспитания детей.

Одежда, обувь, зубная щетка мои и при разводе делиться не будут, но кольцо, не наде-
тое на палец, оказывается уже общим имуществом, причем не только при расторжении
брака.

Ст. 35.1. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом
супругов осуществляется по обоюдному согласию супругов.

Ст. 38.1. Раздел общего имущества супругов может быть произведен
[...] в период брака [...] по требованию любого из супругов.

Жена, решившая жить отдельно, может потребовать половину доходов мужа. Нужен
суд, чтобы доказать по ст. 39.2, что она бросила при этом на мужа их общего ребенка или
не имеет работы при возможности ее иметь.

Мы видим, что такое семейное право по стилю не отличается от общегражданского.
Говоря о государстве как семье, мы имеем в виду семью в старом смысле, для которой в
современном Семейном кодексе оставлена только возможность. Нам важна разница между
государством-семьей в привычном смысле обоюдного согласия – в таком случае говорят
также о патриархальной семье – и государством-договором. Хотя это странно звучит, но всё
то, что в государстве складывается не в порядке привязанностей засвидетельствованного
Кюстином рода, можно было бы отнести к области международного права. Люди догово-
риваются между собой как чужие. Вне семьи и государства-семьи теряется возможность
устроиться полюбовно, т. е. не обязательно в любви, но надеясь, что стерпится-слюбится,
всё уладится без церемоний, по неуставному праву.

Об иностранном облике права мы говорили, как и о естественной трудности перехода
к нему из-за его несвойскости. Междусемейные, межплеменные, международные отноше-
ния предполагают дипломатию. Граждане полиса договариваются между собой как семьи-
государства. Переходя к уставному праву, выходят за рамки семьи. Когда сложился правовой
образ жизни, хороший или плохой, удачный или неудачный, обратным, вторичным образом
гражданское уставное право с элементами публичного может распространиться и на семью,
что мы видели в нашем семейном кодексе. Говоря о государстве как большой семье, о том,
что в нем между правителем и подданными те же отношения, как между хозяином и семей-
ными в патриархальной семье, не будем смешивать эту ситуацию с вторичным семейным
правом, производным от гражданского (или частного, в отличии от публичного) права.

Как возвращение к родному языку, возвращение от всякого уставного, позитивного
права к праву естественному, не забываемомуся, которое внятно и действует без слов, воз-
можно и внутри государства, которое давно живет по нормам позитивного права. В том числе
и среди самого правового государства. Так Америка, страна юристов, шатнулась сейчас⁸² в
момент замешательства под руку и защиту лидера, ищет выхода из трудности в преданно-
сти ему. Уставное право оказывается всего лишь служебным под властью этого первичного
отношения.

Пытаясь точнее и строже назвать разницу между семейной системой и полисной систе-
мой, вспомним один миф Фрейда. Обе противоположные системы на самом деле в каждой
стране существуют одновременно и перемешаны до невозможности их распутать, и миф
Фрейда проводит между ними искусственную, но эвристически важную, если не решаю-
щую границу. Когда-то первобытная орда подчинялась родоначальнику тирану. Он собирал
все человеческие отношения на себе и все остальные связи между людьми были подчинены
этому главному, упорядочены вокруг и ради него. Никто не смел противиться мощи тирана.
Но со временем другая система сравнимой силы возникла в лице сынов тирана, родных бра-
твев. Их было много, они восстали против отца и убили его. Теперь они уже не самовласт-

⁸² После 11.9.2001.

ные тираны. Между ними заключен договор равных, но они унаследовали приемы отца и несут на себе тяжесть совершенного убийства.

Единоличной власти отца соответствует деспотия. Полису соответствует союз братьев. Каждый из братьев мог бы продолжить традицию отеческой тирании, но они договорились устроиться иначе и устраиваются по взаимному согласию. Их право надо называть уже междусемейным, в конечном счете международным; ведь каждый брат потенциально тиран-отец семьи, и в той мере, в какой он отказывается добровольно от тиранической власти, он вступает в уставное отношение с равными.

Это отчетливая схема. Пример: декабристы, восстающие против тирана, принимают схему братства равных. Одновременно братьям грозит скользнуть снова в тиранию. Чтобы удержаться, они должны составить для себя правила, скрепить их договором, для прочности письменным. Люди выходят из замкнутого круга семьи на площадь. Почти сразу начинается смешение, переплетение двух систем, семейной, единовластной, и братской, договорной. Молодой полковник Павел Иванович Пестель именно потому, что больше других боялся за судьбу желанного ему правового государства (для него он написал законодательство «Русская правда»), скорее других был готов опереться снова на авторитарное семейное начало: оно эффективнее, дает больше власти, удобнее в управлении.

В семейной системе действует природное (натуральное, обычное) право. Разница между моим и чужим поступком невелика или ее вовсе нет. Я поступаю как все; другие ведут, показывая как жить. Общность поведения скрепляет и связывает. Народ остается определяющим началом. Этическое и этническое при этом совпадают, как в греческом $\# \theta \omicron \varsigma - \# \theta \nu \omicron \varsigma$: сослаться на обычай всё равно что сослаться на то, что все люди так делают.

К тому, что говорилось о чужести, сторонности, иностранности права, можно в порядке развертывания добавить о его тоне, или стиле. В отличие от теплоты, чувственности, страстей, которые на поверхности видны в природном (обычном) праве, как и в семейных отношениях – всё здесь диктует непосредственный авторитет, сила нрава, очарование, привязанность, как в переживаниях Кюстина, касающихся русского императора Николая I, – современное позитивное право с его формальным стилем, по крайней мере на поверхности, холодно и хочет быть таким, отвлеченным от страстей. Таково впечатление от него. Тем важнее будет разобраться, как обстоит дело по существу.

Я говорю сейчас о современном законодательном стиле. Неформальное обычное право полагается на интуицию и молчаливое понимание. Здесь «понимать надо», всё делается «по понятиям», основано на догадке, по сути полускрыто. Технический формализм современной юриспруденции, которая наоборот ничего не оставляет догадке и молчаливой понятности, держится безличной строгости. Классическое право, древнее римское или так называемые варварские правды, как Русская Правда, показывают еще один, почти совершенно забытый теперь стиль и тон правового документа. Правовая античная классика, например римские правовые документы, – явление совершенно особое. Историки права называют феерический взлет гражданского права в древнеримском обществе «подлинной загадкой истории». Эти документы далеки и от настроений обычного права (личные страсти), и от современной юридической холодности; там что-то другое. Уже по этому признаку Русскую Правду и аналогичные документы нельзя относить к обычному праву.

Современные правовые документы имеют свое особенное качество, назовем его условно техничностью. У технического уровня есть сторона безоценочности. Бесстрастная объективность в науке, в медицине, образовании, в политике отдает определенной безличностью. Врач просит показать голое тело, ученый военный спокойно говорит о проценте солдат, гибнущих на учебных маневрах. Эта безличность технического подхода имеет как опасную сторону, так и хорошую. С плохой стороны безличность открыта в сторону бес-

стыдства и больше того, садизма (или садо-мазохизма). Выше говорилось о том, что насилие, неотделимое от всякого позитивного (уставного) права, открыто садо-мазохизму.

Забегая вперед, скажем, что предложено философской классикой в целях чистоты, чтобы исключить соскальзывание права в техническую безличность и оттуда в мазохизм. Уставное право должно ограничиваться идеальным требованием, т. е. быть не содержательным, а формальным. Пример универсального формального принципа права уже приводился, по Канту: поступай всегда так, чтобы правила, которым ты следуешь, ты мог бы предложить для исполнения всем без исключения. Содержательным неизбежно останется конечно обычное право. В естественном праве у человека и животных есть, как сказано, страсти, есть место и для греховных страстей, как всякое естественное право предполагает преимущество сильного над слабым, богатого над бедным, однако внутри естественного права нет формального холодного закрепления этого содержания как обязательного.

Еще один пример, когда холодная техничность позитивного права, чисто формального, оказывается необходимой. Речь идет о так называемой презумпции невиновности.

УПК [2001], ст. 8.2: Никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Обвиняемый и подсудимый считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в установленном законом порядке, т. е. собственно судом и только судом с соблюдением всех правовых процедур. Бросается в глаза, что презумпция невиновности сразу же помогает исключить давление на обвиняемого с целью получить от него обвинение самого себя (так называемое признание, которое в строгой правовой системе вообще не принимается во внимание как момент судопроизводства). Обязанность доказывания (*onus probandi*) лежит целиком на органах обвинения; обвиняемый по закону вообще не обязан ничего доказывать, в том числе и свою невиновность. Его виновность должен доказать суд. Другие следствия презумпции невиновности: предание обвиняемого суду не предвещает вопроса о его виновности или невиновности. Нет обвиненного, осужденного, преступника без суда. Поэтому гражданин имеет право, даже обязан в случаях, где решает не милиционер на месте, а суд после разбирательства, не подписывать акт, где он назван нарушителем. И еще: во всех случаях неясности, неопределенности доказательств, если полное прояснение не представляется возможным, все сомнения должны истолковываться в пользу обвиняемого. Если один свидетель говорит, что в руках обвиняемого был топор, а другой что батон хлеба, причем свидетели повторяют свои показания и других способов установить, что именно было в руках, нет, то судья исключает показание о топоре.

У презумпции невиновности есть менее заметная и чуть ли не более важная черта. Благодаря этой презумпции осуждается не весь человек, а только, так сказать, его виновность.

Уставное право должно оставаться идеальным, т. е. строго говоря невыполнимым. Проговаривание на безличном формальном языке содержательных положений обычного права открывает простор развязному, нестрогому обращению с вещами и людьми. Уставное (позитивное) право не должно быть разверткой обычного права. Оно должно строиться, по Канту, прямо стоящим человеком глядя на небо и считываться не с прошлого, а с будущего⁸³. Позитивное право у Канта может быть только или идеальным – или никаким.

Кюстиновская Россия живет по обычному, естественному праву. Царят страсти. Император, власть которого ограничена только его убийством, просвещенный и говорящий по-французски, остается по существу всё тем же главарем орды, всевластие которого не уменьшено, а только украшено его внешним блеском.

⁸³ *Immanuel Kant. Werke. Zweisprachige deutsch-russische Ausgabe, т. I. Москва, 1994, с. 246 (...aufrecht zu stehen und den Himmel anzuschauen...).*

Император – единственный живой человек во всей империи; ведь есть – еще не значит жить!.. [...] Я возвратился к себе, ошеломленный величием и щедростью императора и изумленный бескорыстным восхищением, с каким народ глядит на богатства, которых сам не имеет [...] С трудом поверил бы, что деспотизм мог породить столько бескорыстных философов (I, 191).

Они, русские подданные, все оказываются философами в смысле посторонних созерцателей, потому что не рискуют вступить в историю и ограничиваются созерцанием чужой жизни, а единственный, кто живет, это император.

Но, как мы заметили, Кюстин, приближаясь к императору, приостанавливает свой анализ. Отсюда его уже упоминавшаяся непоследовательность. У него есть понимание того, что император тоже несвободен. Он как и все служителю имперского театра, режиссер и исполнитель (как в старину концертмейстер был одновременно первая скрипка) роли при своем собственном идеальном образе, к которому он подтягивается. Философы-созерцатели, должен был бы заметить Кюстин, строго говоря все. Для императора он непоследовательно делает исключение, когда называет его единственным живущим и свободным.

После подавления декабристов, не такого уж легкого и простого дела, – оно на все годы определило стиль поведения Николая I и оставило нервный тик на лице императрицы, – в стране уже нет братства с мощью, сравнимой с силой деспота. Соответственно нет и полиса, нет политики и права, удела свободных. Но вот что позволило Кюстину увидеть в Николае I свободного человека: император сам выбирает, какого права держаться. Помня о таких явлениях как Павел I, чьи реформаторские планы доходили до смены религии в России, мы невольно соглашаемся с Кюстином и начинаем по-новому смотреть на его героя. По Кюстину, этот император мог бы ввести республиканское правление. Ему понятна республика, «способ правления ясный и честный», но он выбрал деспотизм, потому что таков дух нации (I, 211 сл.). Промежуточная форма, конституционная монархия, которая существовала на части империи в узаконенных отношениях между польским сеймом и королем (им был русский царь) и которую Николай недавно, в 1830–1831, разрушил, – «гнусный способ правления» из-за неопределенности, двусмысленности, оставления всего на интриги и борьбу партий:

Покупать голоса, развращать чужую совесть, соблазнять одних, дабы обмануть других, – я презрел все эти уловки, ибо они равно унижительны и для тех, кто повинуется, и для того, кто повелевает [...] Я слишком нуждаюсь в том, чтобы высказывать откровенно свои мысли, и потому никогда не соглашусь править каким бы то ни было народом посредством хитрости и интриг (I, 212).

Николай намеренно и сознательно выбрал диктатуру для России. Вместо правового государства – власть над сердцами силой своего нравственного и военного величия, смелости, прозорливости. В основе всех общественных отношений обаяние, запрашивание сердечного чувства, благоговения, любви.

Для России ли только император выбрал быть главой семьи? И с Кюстином он ведет себя не меняясь. Между ними устанавливаются конфиденциальные отношения один на один. Отчасти сознательно поддаваясь окружающим настроениям, Кюстин сам не заметил, в какой мере стал образцовым русским подданным, который больше всего, больше всех, всё доверяет единому правителю.

Император – единственный человек во всей империи, с кем можно говорить, не боясь доносчиков; к тому же до сей поры он единственный,

в ком встретил я естественные чувства и от кого услышал искренние речи. Если бы я жил в этой стране и мне нужно было что-то держать в тайне, я бы первым делом пошел и доверил свою тайну ему [...] По правде сказать, я изо всех сил противлюсь влечению, которое он во мне вызывает (I, 218 сл.).

Давно и многократно замечено, у западного человека меньше сопротивляемости перед встраиванием в нашу систему чем у нас самих, меньше антител для наших ядов чем у нас. Правда, Кюстин еще так легко позволил себе поддаться и войти в роль верноподданного потому, что у него был в кармане обратный билет из России. Перед сиреной-императором он был как безопасно привязан к мачте.

Как относится западный человек, не менее просвещенный чем император, к этому выбору не республики и уж заведомо не конституционной монархии, а деспотии? Как ко всякому выбору умного и властного человека: с согласием. Пусть в России будет деспотизм. Не это будет проблемой. Каждый народ имеет ровно тот способ правления, который сам заслужил. Позиция Кюстина классическая, та самая, которая традиционно с античности оставалась решающей при всяком философском обсуждении систем правления: лучший способ правления из всех, перебирая от тирании до охлократии, проходя через монархию и демократию, – аристократия, понятая в высоком значении этого слова.

По характеру, равно как и по убеждению, я аристократ и чувствую, что одна лишь аристократия может противостоять и соблазнам, и злоупотреблениям абсолютной власти. Без аристократии и от монархии, и от демократии не остается ничего, кроме тирании, а зрелище деспотизма будит во мне невольный протест и наносит удар по всем моим представлениям о свободе, что коренятся в сокровенных моих чувствах и политических верованиях (I, 219).

Решение бесспорное, потому что чисто формальное и в своей дефиниции тавтологическое: аристократия ведь и значит правление лучших, лучшее правление. Рядом с ним разница между республикой и монархией стирается до невидимости, они обе одинаково соскальзывают в тиранию и деспотию. Здесь, в письме тринадцатом, в одном из лучших своих пассажей Кюстин кратко называет тот порок современного позитивного права, с которого я начал эту пару, – безличность и соответственно узаконение хаоса страстей:

При демократии закон есть некое умственное построение; при автократии закон воплощен в одном человеке – но ведь даже и удобнее иметь дело с одним человеком, чем со страстями всех! Абсолютная демократия – это грубая сила, своего рода политический вихрь, который по глухоте своей, слепоте и неумолимости не сравнится с гордыней какого бы то ни было государя!!! Никто из аристократов не может без отвращения смотреть, как у него на глазах деспотическая власть переходит положенные ей пределы; именно это, однако, и происходит в чистых демократиях, равно как и в абсолютных монархиях (там же).

В Николае деспотическая власть не беспредел, потому что в нем есть как раз лучшее: искренность, надежность, честность. Достоинство. Мужество. Если бы ему удалось поднять этими свойствами Россию, была бы «лучшая власть» – стало быть и то, чем хотела бы быть демократическая республика. Пока есть аристократизм в рослом красивом немце на русском троне, и глядя от него и на него, – всё в порядке. Хотя единственный закон в России – «милость сего божества – приманка» (I, 220), аристократизмом императора всё смягчается и уравнивается с республиканским правлением, где вместо милости царственного божества – «стремление к популярности» (там же). Разница вот в чем. В демократии

надо громко рекламировать себя перед толпой, становиться поневоле говорливым, красно-речивым; в самовластии, наоборот, надо научиться льстить *не хваля себя*, т. е. собственно как-то молча: иначе, говоря о своих заслугах и достоинстве, ты оскорбляешь самодержца, объявляя сравнимой с его заслугами твою заслугу, тогда как он должен быть исключительный. При самодержце каждый должен быть наоборот скромн.

Ведь [...] притязания превращаются в права, а подданный, полагающий, будто у него есть права, в глазах деспота – бунтовщик (I, 221).

Молчаливое угодничество, ничего особенно хорошего. Ну, а на республиканском демократическом Западе – болтовня и самовосхваление честолюбивых политиков, беспардонные манифесты, пустые обещания партий ради собиранья большинства голосов. Разница невелика. Власть в любом случае остается такой, какой народ. В России, где социальная почва сдвинута, где правящий класс не родной низшему, где нет среднего класса, надо ожидать, что строй будет не как в странах, где средний класс существует.

Ужасы российской монархии объясняются свойством ее подданных. И если бы теперь только к этому немцу Николаю, тирану, тоже страну вроде Пруссии и Австрии. Народ был бы счастливейшим на земле; «деспотизм, умеренный мягкостью обычаев, вещь вовсе не такая отвратительная, как утверждают наши философы» (там же). Но вся картина резко сбита: у Николая подданные не европейцы, а полуазиатская орда. Соединение европейского разума, европейской наукотехники с азиатской стихией страшно, жутко – почему? Кюстину непонятно, откуда жуть. Он говорит странную, противоречивую вещь, из тех, проговаривая которые, сам отказывается объяснять собственные неувязки, и Россия его провоцирует (как позднее Бердяева) на нагромождение контрастов: жуткий порядок этой скрепленной европейской технологией азиатской деспотии «более прочный [...] чем любая анархия» (там же).

Слово сказано, *прочность*. Вечность. Сказано не об императоре, который едва устоял в декабре 1825 года, а об азио-европейской стихии, и конкретнее, о такой ломке людей, втискиваемых в западный порядок, когда они теряют достоинство.

Постоянная, повторяющаяся уверенность Кюстина: неестественность, неорганичность этого образования, российская империя. Оставленная себе, своему росту из своих корней, эта часть света дала бы другую культуру чем «северная цивилизация» воспитанных немцев на русском престоле. При всей симпатии к Николаю, такие вещи, как отсутствие свободы слова, отсутствие справедливого суда, слишком резкое отдаление богатых от бедных без промежуточного слоя, т. е. отсутствие прочной социальной структуры Кюстин правильно считает признаком болезней страны. Одной доброй воли властителя тут мало; даже наоборот, по своей доброте император хочет вмешаться в общественную жизнь, когда важнее было бы отойти в тень и оставить место для разделения властей.

Быть может, независимое правосудие и сильная аристократия привнесли бы покой в умы русских людей, величие в их души, счастье в их страну; не думаю, однако, чтобы император помышлял о подобном способе улучшить положение своих народов: каким бы возвышенным ни был человек, он не откажется по доброй воле от возможности самолично устроить благо ближнего (там же)⁸⁴.

⁸⁴ Всё то же сильное место в Письме четырнадцатом. Император не захочет перестать устраивать жизнь подданных, а если подданные захотят, их палками заставят умолкнуть. «[...] Когда бы им вздумалось спорить с людьми, которые по военному наставляют их и ведут за собой, то люди эти капралы и педагоги одновременно, погнажи бы их кнутом обратно на азиатскую родину» (I, 226).

«Зависимое правосудие» никакое не правосудие. Не внедренное порядком и дисциплиной право, которое строго говоря всегда останется неправом, а свое, собственное, выросшее из отечественной почвы – вот что можно было бы назвать «независимым правосудием».

Из этого важного, удавшегося места, всей концовки Письма тринадцатого, обратим внимание еще на одно, действительно историческое выражение, вырвавшееся у Кюстина. Он склонен не видеть большой или вообще никакой разницы по сути вещей – т. е. по человеческому достоинству, добротности, доброте, красоте, по калокагатии, можно было бы сказать, и это было бы верно мысли Кюстина, – между своим Западом и русским Востоком. Перебирает разные аспекты, параметры – снова не видит разности. Находит ее в одном.

[...] По какому праву стали бы мы попрекать российского императора его властолюбием? разве тирания революции в Париже уступает чем-то тирании деспотизма в Санкт-Петербурге?

И всё же наш долг перед самими собой – сделать здесь одну оговорку и установить различие в общественном устройстве обеих стран. Во Франции революционная тирания есть болезнь переходного времени; в России деспотическая тирания есть перманентная революция (*révolution permanente*) (I, 222).

Неустойчивость, подвижность строя. Здесь можно вспомнить из Чаадаева, что Россия не имеет истории. Перманентная революция ее исключает. Революция на Западе пройдет, уверен Кюстин, и Франция снова примет форму, но у России никогда еще не было шанса принять форму. Русскую естественную политическую форму еще никто не видел. У нее и нет возможности появиться, потому что революционный анархопорядок здесь не просто стабильный – он, похоже, вечный.

К перманентной революции как законе русской истории мы обращаемся в попытке понять его природу или существо. Эта природа связана с уверенностью в отсутствии должного (райского) порядка как определяющем настроении страны. Можно определить его как теснящую близость нездешнего рая. Его убедительная, нечеловечески достоверная недостижимость срывает все наши попытки устройства. Она же и упрочивает наше устройство по неписаным законам. Нас теснит присутствие того, от чего мы всегда бесконечно далеки. В уверенности, что мы опоздали к сотворению мира, наша основная опора. Мы твердо знаем, что то, чем мы всегда обделены, нас не подведет.

Кюстин угадывает эту неуловимость райского благополучия, одной из тех вещей, которых специальным, особенным образом нет именно только в России (Седакова), когда замечает:

В России, по-моему, люди обделены подлинным счастьем больше, чем в любой другой части света. Мы у себя дома несчастны, однако чувствуем, что наше счастье зависит от нас самих; у русских же оно невозможно вовсе [...] Россия – плотно закупоренный котел с кипящей водой, причем стоит он на огне, который разгорается всё жарче [...] (I, 247).

Настроение невозможности праведного устройства и оттого небрежное отношение к любому устройству действует как постоянное подталкивание к срыву. Отсюда статус перманентной революции в стране.

Мы говорили о частой ошибке смешения порядка с правом. Эта близорукость компенсируется интуитивным различием между должным порядком и недолжным. Разница между ними ощущается до всякого осмысления. Американка, высказавшаяся во время московских олимпийских игр 1980 года, что такому количеству охраны на улицах она предпочла бы ограбление, не вдавалась в проблему несовпадения порядка и права, но непосредственно ощущала неправильность такого порядка. Молодой Витторио Альфиери, как он пишет в

своей автобиографии, приплыл в Петербург (это был конец XVIII века), увидел выметенную и охраняемую набережную, военный строй домов и не вошел в город: на первом же корабле он вернулся в Европу. Такое же неблагоприятие петербургского порядка, каким бы он ни был совершенным, ощущает Кюстин.

Петербург – это армейский штаб, а не столица нации. Как бы ни был великолепен этот военный город, в глазах западного человека он выглядит голым.

Замысел творца кажется узким, хотя размеры творения его громадны: это оттого, что приказу подчиняется всё, кроме грации, сестры воображения (I, 224 сл.).

Относительно громадности замыслов не нужно было особой проницательности Кюстина, замыслы великой державы не могут быть иначе как мировыми⁸⁵. Дело не в агрессивности воинственных русских. Они все втянуты в действие имперской машины, имеющей свою логику и свой размах. Сближение с Европой или отдаление от нее в общем курсе машины великого государства только тактические колебания. Ее стратегия, всё равно, оформленная в государственных документах или нет, значительнее.

Бедные экзотические птицы, оказавшиеся в клетке европейской цивилизации, они – жертвы мании или, вернее сказать, глубоко рассчитанных устремлений честолюбцев-царей, грядущих завоевателей мира: те прекрасно знают, что прежде чем нас покорить, следует подражать нам всегда и во всё (I, 226).

Если мерить величие цели количеством жертв, то нации этой, бесспорно, нельзя не предсказать господства над всем миром (I, 375).

Здесь новая и опять удачная неувязка Кюстина, потому что противоречие самому себе может быть и достоинством. Сначала он говорил, соглашаясь с Николаем I, что тирания отвечает нраву народа. Теперь оказывается, что русские, экзотические нездешние птицы, неволью покоряясь попали под колеса западно-восточной деспотии. Кюстин склоняется в Письме четырнадцатом, т. е. даже еще не дойдя до середины своего краткого русского путешествия, ко второму. Русские пойманные звери, которым удастся быть собой только редко и украдкой.

[...] Говорить этим людям не разрешают, но взгляд, одушевленный молчанием, восполняет недостаток красноречия – столько страсти придает он лицу. В нем почти всегда светится ум, иногда кротость и покой, чаще – тоска, доходящая до свирепости; чем-то он напоминает взгляд попавшего в западню зверя (I, 229).

Как в императоре, так в народе есть страсть и обаяние, в том числе обаяние рабства и покорности как смиренного согласия, что полнота жизни принадлежит другому. «Русский находит вкус в рабстве» (I, 230). А суровые условия жизни, легкость умереть? Да, русские легко умирают, и на войне, и в быту, но дело не в том, что не ценится жизнь: скорее так, что во вкус к жизни входит игра со смертью. Без этого жизни не хватает остроты и она не полная. Русская рулетка, как стали позднее говорить, входит в обычай, образ жизни. Биология своя и чужая не ценится, жизнь – еще надо посмотреть. Очень высоко ценится жизнь на пределе, или, как стали говорить позднее, беспредел. Жизнь кажется пресна без остроты риска. Гладиаторские бои в России были бы лишние. Близкое соседство смерти их заменяет.

⁸⁵ См. выше с. 58–59 настоящей публикации («Национальное государство существует как проба мирового. Здоровое чутье подсказывает нам, что задачи государства перетекают в трудные задачи целого мира.») и прим. 55.

Железную остроту вносит правящая молния. Не надо обманываться, если в распоряжении властной молнии лошадь и телега. Молнией оттого быть она не перестает. И может быть в российском театре самый популярный спектакль это быстрота и жесткость действий власти.

Временами несколько зевак заставляют меня впасть в заблуждение, будто в России есть люди, что развлекаются ради развлечения [...] Но я мигом прихожу в разум при виде фельдъегеря, молча несущегося вскачь на своей телеге [...] Он – живой телеграф⁸⁶, что везет повеление другому человеку, пребывающему, как и он сам, в неведении относительно замысла, который приводит в движение их обоих⁸⁷; сей второй автомат [!] ожидает его за сотню, тысячу, полторы тысячи лье в императорских владениях. Телега, на которой пускается в путь железный человек, – самая неудобная из всех дорожных карет. Вообразите себе маленькую повозку с двумя обитыми кожей скамейками, без рессор и без спинки; никакой другой экипаж не годится для проселков, какими кончаются покуда все большие дороги, проложенные сквозь эту темную и дикую империю. [Курьер] путешествует до самой смерти, а она у людей, исполняющих это тяжелое ремесло, наступает рано (I, 231).

Правительственная молния не заглушена и не ослаблена тем, что называют темнотой и дикостью народа, скорее наоборот, европейская публика не относилась бы к действиям властей с таким послушанием. Для молнии как раз скорее нужна тьма и глушь, тогда она ярче блестит. Внутри нее только явственнее черты молнии: телеграф, передача замысла от автомата к автомату через железо человека, которого не остановит смерть. Здесь можно говорить об особом, уникальном достоинстве (добродетели, *virtus*) московского служилого человека. Мрачное упоение молнией правит и ее передатчиками, и исполнителями ее повелений. Жизнь московского служилого человека проходит на пределе выносливости в игре со смертью, с соревнованием в том, кто кого пересилит. Достоинство Кюстина, что он это видит и без наблюдения русской войны, не на примере Бородина, где русские дали выбить половину своих и подались только физически, только в меру этой убыли, а не ради сохранения своих жизней.

Итак, подданные великого государства с единоличным правлением привязаны и к единому главе государства интимно, мечтательно, эротически и электрически. Они невольно увлечены мощью, эффективностью, быстротой, «молнией» властных силовых действий. И, не в последнюю очередь, у граждан великого государства есть увлечение огромностью занимаемого им пространства, которое никто никогда не сможет объехать или обойти. Через эту громадность житель такой страны символически связан с бесконечностью и приобщен к истории. Степень реальной принадлежности человека к своему государству обычно недооценивается. Неверно даже, что его личный интерес, вплоть до сохранения своей жизни, стоит для него на первом месте. Он любит свое государство и готов отдать ему или за него

⁸⁶ Телеграф уже, хотя на телеге. Ср.: В. В. Бибихин. Язык философии: «Распространение российского населения на огромных пространствах Восточной Европы и Азии, погруженность этого населения в природную жизнь могла кому-то казаться гарантией медлительной массивности, нелегкости на подъем, вечной “китайской” неподвижности. Вся эта масса народа, прикрепленная, казалось, к громадным объемам природного вещества, против всякого ожидания быстро и решительно отбросила навыки рассудительной обстоятельности, здравого смысла. Сообщение, переданное ранней весной 1917 года из отдаленной столицы по всей стране, действовало не своим содержанием, убеждало не обещанием переустройства жизни на более разумных началах взамен старым, менее рациональным. Сообщение было принято страной как сигнал, введивший человека в другое, электризованное состояние» <СПб.: Наука, 2007, с. 131>.

⁸⁷ Они проводники. Император тоже проводник божественной молнии (см. «Язык философии» <с. 130>).

собственность и жизни. По крайней мере часто бывает, что большей реальностью, чем личный интерес, оказывается держава с ее правами на человека.

На качелях между одной крайностью и другой, между мобилизацией и беспечностью, может быть один и тот же человек. Лень зеваки, распушенность гуляк – иногда просто обратная сторона железного исполнителя, автомата на телеге. Не другой кто, а он же сам, «путешественник до смерти» в безлюдные просторы Камчатки, Сибири, солончаков, Китайской стены, Лапландии, Ледовитого моря, Новой Земли, Персии, Кавказа с царской молнией, от громады молнии засыпает на полпути и глядит бессмысленно и пьяно; его железную службу тогда тянет другой, пока не сорвется – или первый поднимется от сна для продолжения службы. Интенсивное движение подкладкой имеет вечный покой.

В старину, это не очень давно у нас кончилось – может быть с самолетами – в России были приняты очень высокие качели, как можно выше к самому высокому дереву.

Это очень мощное, даже пугающее зрелище [...] они взлетают на страшную высоту, и при каждом взлете наступает момент, когда качели, кажется, вот-вот перевернутся, и тогда люди сорвутся и упадут на землю с высоты тридцати или сорока футов; ибо я видел столбы, которые были, я думаю, вышиной добрых двадцать футов (II, 47).

Записывая это, Кюстин думает о размахе и одновременно о шаткости русского устройства. Философу, когда всё качается без остановки и без надежной почвы под ногами, явно нет места. Но поэту – другое дело, для него в России поводов (это другое, чем условия), возможно, больше чем на Западе Европы. У русской мысли два крыла, сильное поэзии и хромое философии. Кюстин:

У философа в России жалкая участь, поэту же здесь может и должно нравиться.

Воистину несчастны лишь те поэты, кто обречен чахнуть при режиме гласности. Когда все могут говорить всё что угодно, поэту остается только умолкнуть. Поэзия есть таинство, позволяющее выразить нечто большее, чем слова; ей нет места у народов, утративших стыдливость мысли. Истина в поэзии – это видение, аллегория, аполог; но в странах, где царит гласность, истину эту убивает реальность, которая всегда слишком груба с точки зрения фантазии. Гению там недостает поэтичности: он продолжает творить, исходя из своей природы, но не способен сотворить ничего завершенного.

В душу русских, народа насмешливого и меланхолического, природа, должно быть, вложила глубокое чувство поэтического [...] (I, 232).

В стране, где есть только порядок и нет чутья к праву, даже просто желания его иметь, а *fortiori* нет воздуха для философии кроме как номинальной. Но поэзия дышит еще чем-то и другим, не только воздухом свободного гражданства, или, может быть, она как-то умеет воровать этот воздух. Эзоп писал басни в рабском состоянии. К поэтическим чертам народа Кюстин относит то, что он «лукав, словно раб, что утешается, посмеиваясь про себя над своим ярмом» (I, 233). Что касается «режима гласности», то его отсутствие в России создало почву для поэзии.

Режим гласности в России срывается тем, что даже когда открыто и известно всё, общее настроение склонно подозревать везде скрытые тайны, в том числе и тайну тех якобы секретных сил, которые создали для себя как прикрытие саму же эту гласность. В свою очередь всеобщим подозрением о тайных рычагах и причинах секретные органы питаются или даже создаются. Интуицией подспудных рычагов подрывается и почти всякое судебное расследование: оно неспособно остаться в правовой плоскости и тонет в стихиях, страстях, интересах – в неписаном праве.

К разбору русской лжи добавим наблюдение Абдусалама Абдулкеримовича Гусейнова⁸⁸. Неправда у русских возведена в принцип. «Красно поле рожью, а речь ложью». «Российские коллеги имеют совершенно странную привычку обманывать без нужды, без видимой пользы для себя». «Что это за феномен бескорыстного обмана? [...] Зачем обманывать там, где можно этого не делать?». «Обман – и именно обман как бы на пустом месте, без давления обстоятельств, без желания извлечь особую пользу, обман из-за любви к искусству, словом, просто обман – вошел в наши нравы, стал своего рода неписаной нормой». Мы подчеркнули бы сейчас, читая Кюстина, слова «из любви к искусству» и далее «в наших культурных генах». Любовь к мифу срывает попытки гласности, люди предпочитают видеть за явлением его скрытые или скрывающиеся формы. Общее настроение нашего мира таково, что правда понимается в принципе как утаенная. Кюстин в разделе о поэзии Письма четырнадцатого почти что называет причину того, почему всё-таки русский народ не «обречен чахнуть при режиме гласности» (232). Всякое открытое сообщение о событиях будет сорвано привычкой видеть глубже, за правдой факта – скрытую.

Сходное сопротивление рациональности Кюстин видит в том, как петербургскому простонародью «удалось придать неповторимый и живописный облик город[у], построенн[ому] людьми, что были начисто лишены воображения» (I, 232 сл.).

Европейские инженеры прибыли сюда учить московитов, как им возвести и отделать столицу, достойную восхищения Европы, а те, привыкнув к военному послушанию, подчинились власти приказа. Петр Великий построил Петербург не так ради русских, как, в гораздо большей мере, против шведов; однако естество народа нашло себе выход, невзирая на почтение к прихотям повелителя и недоверие к самому себе; именно эта непроизвольная непокорность и наложила на Россию печать неповторимости; изначальный характер ее жителей оказался неистребим; это торжество врожденных свойств над дурно направленным воспитанием – зрелище любопытное для всякого путешественника, способного его оценить (I, 233).

⁸⁸ А. А. Гусейнов. Язык и совесть, М.: ИФ РАН, 1996 <цитированные места с. 97–100>.

4. Ревизор

Уже была названа главная тема нашей попытки философского разбора ближайших реалий государства, а именно идеальный императив как единственный возможный принцип права по Канту и по нашему убеждению. Введем теперь главное действующее лицо книги. Оно у нас уже появлялось и при разборе других тем в наших лекционных курсах. Мы называли его по-разному: наблюдатель, взгляд, вид, зритель, глаза. В сложном узле, о котором мы говорили, вспоминая между прочим о психосоциологии американских негритянских низов, и о котором Кюстин говорит, что «народ лукав, словно раб, что утешается, посмеиваясь про себя над своим ярмом», надо спросить: тот, кто смотрит таким насмешливым образом со стороны на свое рабство – он тоже раб? Так можно было бы подумать. Ничто не мешает однако говорить, что если раб смеется над своими цепями, то он свободен, как пленный Пьер Безухов, который рассмеялся, когда французский часовой не разрешил ему отдалиться от балагана с остальными военнопленными.

– Не пустил меня солдат. Поймали меня, заперли меня. В плену держат меня. Кого меня? Меня? Меня – мою бессмертную душу [...] смеялся он [...]⁸⁹.

Смеясь, он оставался пленным, но в каком-то смысле, мы чувствуем, тот, кто смотрит на себя, другой, чем тот, на кого он смотрит.

В имперском театре середины XIX века (с ним нужно сравнить, здесь тема для серьезной работы, современное телевизионное освещение политики) все играют свои роли перед царем, но и царь играет свою роль первой скрипки и дирижера перед всеми. Прояснить вопросы права поможет введение лица наблюдателя в том исходном смысле, когда нет существенной разницы, наблюдает ли кто нас извне или мы наблюдаем себя сами.

В отдаленном сравнении острога, какую в наше время вносит скрытая камера, до появления технических средств фиксации была прерогативой ревизора. За три с половиной года до кюстиновского лета в России Гоголь написал с увлечением, за два месяца, комедию с таким названием. Приезжего принимают за ревизора – это был расхожий анекдот того времени. Подобное случалось с Пушкиным и с самим Гоголем. Появляется человек, который на самом деле не простой, а скрытый наблюдатель, – эта ситуация грозила конечно тем, что обнаружится, что тот, кого наблюдают, должен был вести себя иначе, не имел права вести себя так, как вел, позволил себе недозволенное. В каком смысле мы боимся ревизора?

Для того чтобы представить себе силу ревизора, нам теперь нужно сделать усилие, потому что мы не видим инстанции, которая имела бы моральное право нас проверять. Власти в общем представлении не живут лучше, чем мы, и не посмеют обратить внимание на наши пороки, потому что мы тогда сами пожалуй заметим за ними то, что им не нравится. При теперешнем способе правления есть реальная возможность в отношении каждого высокого человека доказать, что он нарушает закон. Вместо опасения реального ревизора сейчас однако существует общее размытое ожидание, что кто-то – неопределенный, может быть даже не человеческий, природная катастрофа, инопланетяне – придет, совершит суд или наведет порядок, у нас и во всём мире.

Ревизией русского человечества была вышеупомянутая пьеса Гоголя. Ее эпиграфом была поставлена народная пословица «На зеркало неча пенять, коли рожа крива»; зеркало как бы подносилось к каждому, чтобы он стал своим собственным ревизором. Пьеса заставляла

⁸⁹ Л. Н. Толстой. Война и мир, т. 4, ч. 2, гл. 14.

[...] Взглянуть вдруг на самого себя во все глаза и испугаться самого себя⁹⁰.

«Взглянуть вдруг на себя во все глаза», т. е. увидев себя всего, через союз *и* связано с *испугаться*. Одно стало быть равносильно другому. Что я живу не той жизнью, какую должен, само собой разумеется. Какие в таком случае у меня права, каким законом мне позволено жить, если, едва обратив внимание на себя, я потону в чувстве собственной вины? Никакие, никаким. По большому счету мои права на жизнь условные, игрушечные, они даны мне в шутку и комедийны; они принадлежат мне не больше чем Хлестакову, веселят меня на время и рано или поздно будут отняты первым встречным. Я набросился с жадностью на шуточные, условные права жить от страха за свою неправильность, как утопающий хватается за соломинку.

От своего чувства неуверенности сегодня я могу излечиться у аналога Хлестакова, например в современном тренинге уверенного поведения, где «учат обрести самоуважение и уверенность в себе; преодолеть робость и чувство беспомощности; выражать твердость и уверенность жестами, взглядом, тоном, темпом речи, осанкой, выражением лица». Легко себе представить оценку такого тренинга Гоголем, который увидел бы круговой обман или карточную игру во всей современной политической финансово-экономической системе. Гоголь говорит в грозной проповеди:

Этот настоящий ревизор, о котором одно возвещенье в конце комедии наводит такой ужас, есть та настоящая наша совесть, которая встречает нас у дверей гроба [...] этот ветреник Хлестаков, плут, или как хотите назвать, есть та поддельная ветренная светская наша совесть, которая, воспользовавшись страхом нашим, принимает вдруг личину настоящей и дает себя подкупить страстям нашим, как Хлестаков чиновникам, – и потом пропадает, так же, как он, неизвестно куда [...] жизнь, которую привыкаем понемногу считать комедией, может иметь такое же печально-трагическое окончание⁹¹.

Символом настоящего, неподдельного ревизора повсеместно считался царь. Исходя из презумпции тотальной виновности, царь не заботился о том, чтобы у всех были политические права, так или иначе условные, и не особенно ревизовал их соблюдение. Царь считался или хотел быть сразу блюстителем того высшего назначения человека, когда человек, собравший всю свою энергию, ужаснувшись перед собственной неправдой, поднимается через слой (уровень) гражданских прав непосредственно к небесному гражданствованию. Государь земной таким образом отождествляется с лицом верховного Господа. Условные порядки, титулы, чины осыпаются, единственно важным остается служение безусловно Высшему, и комический актер и писатель, например, да кто угодно, если он Высшему служит, заслуживает, по крайней мере в собственных глазах, высшего чина. Система права в служении Высшему сливается с моралью, мораль с религией. Всё становится серьезно, и только так появляется по крайней мере перспектива не соскользнуть в трагедию.

Не пустой я какой-нибудь скоморох, созданный для потехи пустых людей, но честный чиновник великого Божьего государства [...] Дружно докажем всему свету, что в русской земле все, что ни есть, от мала до велика, стремится служить тому же, кому все должно служить что ни есть на всей земле, несется туда же (*взглянувши наверх* [авторская ремарка

⁹⁰ Вторая редакция окончания «Развязки Ревизора» // Н. В. Гоголь. Собрание сочинений в семи томах. Т. IV. М.: Художественная литература, 1985, с. 353.

⁹¹ Вторая редакция окончания «Развязки Ревизора» // Н. В. Гоголь. Собрание сочинений в семи томах. Т. IV. М.: Художественная литература, 1985, с. 352.

к произносящему эти слова «первому комическому актеру», Михаилу Семеновичу Щепкину, Городничему в «Ревизоре»]), кверху, к верховной вечной красоте!⁹²

Верховный правитель, который держится божественным авторитетом, стоит таким образом выше права и на правовых основаниях не может быть смещен; в гораздо большей мере он сам санкционирован изменить право, закон, конституцию. Это делает его положение шатким в случае, если вера в него будет подорвана. Он тогда может быть смещен не то что революцией, но кем угодно, например в дворцовом перевороте. Но как в неправовом государстве непрочно положение единоличного правителя, или правителей, так же и каждый гражданин по-честному не может верить в надежность своего положения иначе как через санкцию верховного авторитета. В поисках нешаткой опоры он должен идти вплоть до верховной правды, которая страшно требовательна, потому что она выше чем человеческая.

Механизм ревизора тот, что достаточно пристально всмотреться в человеческое устройство на земле, чтобы обнаружилась его эфемерность, неправильность, вызывающая более или менее скрытую неуверенность человека в самом себе. Всякое *видеть* предполагает быть другим чем увиденное. Мы имеем виды на то, что увидели, т. е. не оставляем его таким, какое оно есть. Мы не можем не критиковать то, что видим, достаточно слишком пристально взглянуть самим или позволить вдумчивому художнику изобразить существующее. Способность глядеть и видеть райским зрением прекратилась в детстве.

Гоголь обращает внимание на обычное поведение под наблюдающим взглядом: оно такое же, как у всех в «Ревизоре» перед ревизором Хлестаковым, т. е. сводится к усилию показать себя в лучшем виде и задобрить глядящего всеми мерами, чтобы он в свою очередь одобрил нас. Тогда появляется иллюзия нашей оправданности, например на том основании, что мы не хуже других. Нетерпимое зло, возможно, существует, но уже не в нас. Снова говорит Гоголь-проповедник:

Лицемерны наши страсти, и не только страсти, но даже малейшая пошлая привычка умеет так искусно подъехать к нам и ловко перед нами изворотиться, как не изворотились перед Хлестаковым проныры чиновники, так что готов даже принять их за добродетели, готов даже похвастаться порядком душевного своего города, не принимая и в мысль того, что можешь остаться обманутым, как городничий⁹³.

Гоголь напоминает о существовании кроме поддельной хлестаковской совести настоящего ревизора, гораздо более строгого и бесконечно надежного. В письме Александре Осиповне Смирновой-Россет 6.12.1849:

Помните, что всё на свете обман, всё кажется нам не тем, чем оно есть на самом деле. Чтобы не обмануться в людях, нужно видеть их так, как велит нам видеть их Христос. В чем да поможет вам Бог! Трудно, трудно жить нам, забывающим всякую минуту, что будут наши действия ревизовать не сенатор, а тот, кого ничем не подкупишь и у которого совершенно другой взгляд на всё⁹⁴.

С каждой минутой простого ожидания строгого ревизора он становится страшнее, в конце концов безмерно грозен, как в конце гоголевского «Ревизора».

⁹² Вторая редакция окончания «Развязки Ревизора» // Н. В. Гоголь. Собрание сочинений в семи томах. Т. IV. М.: Художественная литература, 1985, с. 352.

⁹³ Вторая редакция окончания «Развязки Ревизора» // Н. В. Гоголь. Собрание сочинений в семи томах. Т. IV. М.: Художественная литература, 1985, с. 353.

⁹⁴ Переписка Н. В. Гоголя в двух томах. Т. 2. М., 1988, с. 197.

Это появление жандарма, который, точно какой-то палач, является в дверях, это окаменение, которое наводят на всех его слова, возвешение о приезде настоящего ревизора, который должен всех их истребить, стереть с лица земли, уничтожить вконец – всё это как-то необъяснимо страшно!⁹⁵

Получилась таким образом не комедия, а всё-таки тяжелая трагедия. Комедий не бывает с уничтожением всех в конце, с отправкой всех в тюрьму, с неминуемым беспросветным будущим для всех. Разве что так: люди оказываются смешными куклами и умирают, замирая в неподвижности; *человек* восстает, не на сцене, а в зрительном зале, как глядящий, т. е. смеющийся глядеть, т. е. не нуждающийся в ревизоре, сам свой зритель.

Один и тот же человек может то договариваться с Хлестаковым, то всерьез разговаривать с настоящим ревизором. С этим разнообразием человека связана проблема субъекта права. Из-за неопределенности субъекта вообще право должно стоять как система само по себе и само на себе. Субъект права не дан раньше правопорядка; субъект, наоборот, определяется уже из существующей системы права и может быть привязан, гибко привязан или вовсе не привязан к телесному человеку, к так называемому индивиду.

Люди, казалось бы устойчивые личностные образования, оказываются шаткими. Они могут перестроиться и внутри себя, и как социальная структура. Постоянным лицом оказывается наблюдатель, ревизор, судья. Сказанное о комедии относится ко всему обществу:

[...] В голове всех сидит ревизор. Все заняты ревизором. Около ревизора кружатся страхи и надежды всех действующих лиц⁹⁶.

Вездесущие ревизора связано с его невидимостью. Даже когда он не инкогнито, он должен быть загадочен. Его мнения должны быть непрозрачны, они молчаливо накапливаются для будущего решения. Даже когда он глядит в нас самих, он инкогнито; мы никогда не знаем и не узнаем, кто он. Всякая попытка взглянуть на глядящего вызвана уже им и для него. Усилие Гоголя направлено на то, чтобы расплывчатого ревизора сделать определенным, узаконить как главное лицо навсегда.

Лучше ж сделать ревизовку всему, что ни есть в нас, в начале жизни, а не в конце ее. На место пустых разглагольствований о себе и похвальбы собой [...] в начале жизни взять ревизора и с ним об руку переглядеть всё, что ни есть в нас, – настоящего ревизора, не подложного, не Хлестакова!⁹⁷

Когда Гоголь советует это, он надеется на особое свойство русских даже в рабском и подчиненном состоянии сохранять взгляд на себя со стороны и готовность к перемене.

[...] Смех у нас есть у всех; свойство какого-то беспощадного сарказма разнеслось у нас даже у простого народа. Есть также у нас и отвага оторваться от самого себя и не пощадить даже самого себя⁹⁸.

Другое, высокое гражданство, к которому зовет Гоголь, в «великом Божьем государстве»⁹⁹, где искусство может быть более важным служением чем полиция и промышленность, предполагает полные права каждого в той мере, в какой каждый давно и безоговорочно признал над собой настоящего ревизора, совесть, и она ему слышнее и важнее всех

⁹⁵ Н. В. Гоголь. Собр. соч., т. 4..., с. 348 («Развязка Ревизора»).

⁹⁶ Н. В. Гоголь. Собр. соч., т. 4..., с. 338 («Предупреждение для тех, которые пожелали бы сыграть как следует «Ревизора»).

⁹⁷ Н. В. Гоголь. Собр. соч., т. 4..., с. 351 («Развязка Ревизора»).

⁹⁸ Н. В. Гоголь. Собр. соч., т. 4..., с. 357 (Вторая редакция окончания «Развязки Ревизора»).

⁹⁹ Н. В. Гоголь. Собр. соч., т. 4..., с. 357 (Вторая редакция окончания «Развязки Ревизора»).

других голосов, в том числе серьезнее чем указания власти и официальной церкви. Человек, принявший настоящего ревизора, не примет порядка, устроенного не по совести.

Мы говорили о двух типах государственного устройства, одно – вокруг единого правителя как главы семьи, другое – договор равноправных, братьев. К какому типу отнести гоголевское гражданское устройство по совести? К любому из этих двух. Когда общество устроено не по совести, то всё равно, какую именно форму оно приняло. Гоголь предлагает таким образом карамзинское, пушкинское решение давнего спора, условно говоря, между европейским Западом и Востоком, «западниками» и «русофилами». Восточная идеология семейного устройства представлена, например, в недавней книге *А. М. Величко* «Государственные идеалы России и Запада. Параллели правовых культур». Величко спорит со старым немецким правоведом Рудольфом фон Иерингом (Ihering). По Величко, если право есть, как настаивает Иеринг, юридически защищенный практический интерес (так называемая юриспруденция интересов, или юридический прагматизм), – то борьба за право, которую Иеринг считает обязательной, оказывается ничем иным как вежливой гражданской войной, где каждый урывает себе что может (*homo homini lupus est*), хотя и в цивилизованно упорядоченной драке. Величко противопоставляет этому государственный идеал России, особенно как он оформился в XVI–XVII веках при Иване Грозном и первых Романовых, т. е. до Петра I. Впоследствии, по Величко, начала православного российского государства были подорваны западным влиянием. Зато в ту определяющую эпоху борьба за право или права [...] никак не проявляется в деятельности Московского государства. Всё построено на идее ответственности, обязанности лица отдавать все силы для пользы государства и нести соответствующие повинности и обязанности¹⁰⁰.

Отступление от принципа безусловной, неознаграждаемой обязанности жителя перед государством было приближением к Западу и нравственным падением. Люди стали корыстно бороться за свои права во вред общественной гармонии.

Полной противоположностью этому началу рисуется позиция Иеринга:

В праве человек обладает и защищает условие своего нравственного существования; без права он нисходит до степени животного. Поэтому утверждение права есть долг нравственного самосохранения, полный же отказ от него – ныне, правда, невысказанный, но некогда вполне возможный, – будет нравственным самоубийством. Точно так же и в процессах, где истец защищается от низкого нарушения своих прав, дело идет не о ничтожном объекте, а об идеальной цели: об утверждении самой личности и ее чувстве права. Интерес процесса обращается для него в вопрос характера: на карту поставлены утверждение или гибель личности¹⁰¹.

Эти две позиции перестают казаться такими противоположными, если посмотреть на них с гоголевской точки зрения совести как ревизора. Как в восточном начале ответственность, обязанность предполагают отчет перед совестью, так у Иеринга человек защищает свои права не чтобы ему было удобнее, а наоборот, даже если это ему неудобно и судебный процесс обойдется ему дороже; защита прав есть обязанность перед своей совестью на защите общей справедливости. В позиции Иеринга не так важно, борется человек за права или нет: если он их себе требует ради корыстного интереса, то хоть бы и не требовал, всё равно; единственно важно, что он их требует ради идеи. И точно так же в позиции Величко

¹⁰⁰ *А. М. Величко*. Государственные идеалы России и Запада. Параллели правовых культур. СПб.: Издательство Юридического института 1999, с. 156 сл.

¹⁰¹ *Р. фон Иеринг*. Борьба за право. СПб., 1895, с. 17 слл. Цит. по: *А. М. Величко*..., с. 156.

не так важно, служит человек государству или не служит; если само государство служит не идеалу по совести, то хоть бы никто ему и не служил, всё равно.

Если мы теперь вернемся к придворному балету, как его описывает Кюстин, то в свете Гоголя всё становится яснее. Император хочет играть роль настоящего ревизора, аристократа, по совести действующего из высших принципов. Его подданные хотят видеть в нем такое лицо. Император согласился на постановку «Ревизора». Если он – что скорее всего и было – видел, что в комедии показана вся Россия включая его самого, не исключено что в персонаже Хлестакова, то, разрешив постановку, император разрешил продолжать выяснение истины и принял связанный с этим риск.

Придворный балет разыгрывается конечно прежде всего перед императором. Вместе с тем играет, причем пожалуй старательнее всех, и сам император, концертмейстер, первая скрипка. Перед кем он играет? Конечно, перед подданными; он показывает им пример. Признает ли он их ревизорами и судьями над собой? Возможно, хотя только отчасти. Первое действующее лицо явно отчитывается еще перед кем-то решающим. Наверное, перед самим собой? У нас это легко проговаривается: он первый исполнитель роли, он же и свой собственный критик. Разница между этими двумя лицами велика? Здесь та же ситуация, что в случае лукавого народа, который посмеивается над собственным ярмом. Разница между рабом и насмешником может быть очень велика.

Наша тема не техника юриспруденции, а введение в философию права. Мы обязаны поэтому не обходить сложности – наоборот, надо идти им навстречу, – в понятии субъекта права. Всё равно без помощи философии правоведение в нем не разберется. Субъект права определяется обычно тавтологически как законно имеющий права, или как обладающий правосубъектностью. Можно подумать, что сначала дан субъект, которому затем закон даёт права. На самом деле, как мы видели, всё обстоит наоборот; субъект сам по себе плывет, и только принятая система права имеет внутри себя уже готовые ячейки для субъектов права. Это особенно ясно видно в случае юридического лица, которое в принципе не может оформиться иначе как в допускаемом или предписываемом законом порядке. Но и физическое лицо определяется через закон, а не через свое биологическое наличие. Сравнительно недавно, еще менее ста лет назад, не всякое физическое лицо становилось полноценным субъектом права, например избирательного, а только такое, которое имело определенный размер собственности (имущественный ценз), после революции, наоборот, – только такое, которое не имело частной собственности; существовали и другие ограничения. Современная теория права считает, что в так называемом рабовладельческом обществе право, причем опять же не одинаковое в зависимости от имущества и происхождения, имели только свободные тела, тогда как несвободные в принципе не имели прав. В феодальном христианском обществе субъектами права были уже все тела без исключения, но разница в правах на противоположных полюсах, например между обельным (круглым) холопом и князем, была огромная.

Недавно, меньше ста лет назад, в европейском человечестве была введена новость: полное равенство в правах всех «граждан». Ясно, что реально равенства в правах нет и не может быть по разным причинам, например по такой простейшей: я не изучал законы, не знаю своих прав и по этой причине потерял при переоформлении участок земли, тогда как мой сосед по даче знает законы и не потерял. В хорошем случае власти ведут себя безупречно и не пользуются моим незнанием прав; чаще бывает наоборот и власти вовсе не спешат научить всех правам.

Поскольку безупречности ни с какой стороны ожидать не приходится, проиллюстрировать равенство прав оказывается удобнее именно через сравнение теперешнего положения дел с отмененным и якобы преодоленным прошлым. Применяется контрастная схема: вычерчивают эффектное, кричащее неравенство прав в прежнем обществе. Впечатляет каж-

дого сообщение о том, что рабовладелец в принципе ни перед кем не отвечал за отнятие жизни у тел рабов. По контрасту, всякое отнятие жизни у кого бы то ни было в наше время требует заведения дела. Реально за убийство раба в древности были свои санкции по обычному, неписаному праву, и иногда эти санкции были строже, чем например теперь наказание за убийство человека, которому не разрешено ношение оружия, человеком, которому разрешено ношение оружия.

Удобно, для номинальной системы права, чтобы она выглядела более обозримой и компактной. Упрямое нежелание вступить в пространство права поощряется со стороны самой системы права, которой удобно не входить в ближайшие реалии, ограничить глубину своего внедрения в жизнь. Индивид может быть, кроме того что физическим лицом права, еще и юридическим лицом. Он остается телесно тем же, но его права шире. Третий случай: индивид может хотя и не быть юридическим лицом, но он уполномочен лично выступать от имени коллективного юридического лица, например государственного органа. Тело, у которого есть только физическое лицо, тело, у которого есть также юридическое лицо, и тело, представляющее от государственного органа, явно не равны. Говорить, что они равны перед законом, теоретически возможно, но что у них *равные права* – только условно. Кто-нибудь скажет: но каждый может стать и юридическим лицом, и президентом, если умеет. Умеют явно не все. Мы возвращаемся к невозможности равноправия граждан.

В добавление к сложности субъекта права (1. он исходно имеет права или формируется системой права? 2. гражданин субъект права, государственные органы субъекты права, общественные организации субъекты права, причем граждане как субъекты права равны, но простой гражданин равен в правах гражданину, который в государственной должности? надо различать гражданина и государственную должность? надо ли считать должность субъектом права? и так далее) усложним реальность введением нового и, как уже говорилось, главного действующего лица, зрителя-реvisора, который совпадает или не совпадает с тем, кого он рассматривает.

Со временем будет проясняться, как полезно ввести это действующее лицо. Оно не совпадает ни с каким субъектом права, но оно не фикция. Наблюдатель, ревизор располагается в неразведанном пространстве или живет в нас самих, наблюдая, что и как мы делаем. Наблюдателя (зрителя) мало замечают по причине постоянного привычного ощущения его присутствия; все почти всегда позируют перед ним, свыкаясь с этим. Сидя здесь и разговаривая о праве, мы видим себя, и видящий смотрит, как мы говорим о праве. Видящий не заявляет о своих юридических правах, но он их имеет, причем немалые. Громадная тема доноса как одной из опор государства не будет рассматриваться нами именно потому, что она полностью входит в тему ревизора.

Хотя наблюдатель не заявляет формально о своих правах, ему может, например, стать скучно. Тогда всё, что перестало его интересовать, по сути дела перестанет для него и в конечном счете для нас тоже существовать, т. е. сравнится с ничто. Наблюдателю может быть, далее, сначала не скучно, но потом он обнаружит, что его заинтересованность была искусственно создана, его заманили. Он отомстит тогда забыванием того, чем, казалось бы, был так занят. Забытое опять же проваливается в ничто и выходит из бытия. В принципе имеет шанс сохраниться в бытии только то, что выдержало взгляд наблюдателя. История в этом отношении похожа на театр; если публике становится неинтересно, она уходит и представление сразу или со временем прекращается. Всё зависит от того, как понравится или не понравится зрителю. В этом смысле он имеет собственно все права, или одно главное право. Между тем он не юридическое лицо и ни в каком законе не зафиксирован. Социалистическая или коммунистическая цивилизация была почти построена, советский человек сформирован, но стал скучен самому себе как собственному зрителю и перестал прилагать усилия на свое поддержание.

Подыскивая другие имена наблюдателю, ревизору, вспомним о такой фигуре как шпион. *Шпион* кажется новым словом, в действительности оно очень старое. Вульгарное слово *шпик* неожиданным образом – такое с разговорной речью часто бывает – возвращает к лат. *speculum* *зеркало*, греч. σκέπτομαι с метатезой *осматриваться, обращать внимание*. Кто так делает, т. е. присматривается, становится *скептиком* у греков, в древненижнегерманском *srāhi* *умником*. Кто пристально вглядывается, может слишком много увидеть. Слово поэтому рано приобретает значение *шпион*. Первым это значение в европейских языках зафиксировано у итальянцев. Считается, что от них заимствовано в 1380 первое зафиксированное применение во французском, *espion*, шпионка *espionne*.

Спустимся на ступеньку глубже. Глядящий как умный, наблюдательный, даже скептик, т. е. заглядывающий дальше внешней видимости, есть пока еще и ожидаемое расширение глядения. Обертон *шпиона* вводит ту мысль, что глядение простой вдумчивостью не ограничивается, оно опасным образом не наше. Шпиономания в Советском Союзе тысяча девятьсот тридцатых годов, отчасти похожая на ревизороманию тысяча восемьсот тридцатых годов, была сплошным взаимным прочесыванием умов и паническим желанием того, чтобы, если уж мне не дано выискивать шпионов, непременно остаться при невидном, наивном, не вглядывающемся взгляде. Правил всеобщий испуг перед взглядом, который отпущен на свободу и глядит бесконтрольно, а такой взгляд уже не подчиняется плану.

Откуда идет взгляд и кто в нас глядит на нас, проверяя нас, проследить трудно, если не невозможно. Мы обыкновенно бываем целеустремлены, и взгляд со стороны, чужой или наш собственный, сбивает нас с толку, мешает, как нам кажется, жить, даже отравляет существование. Скепсис, холодное вглядывание, подрывает наши сложившиеся представления, мешает смотреть на вещи так, как нам казалось привычно. Смотрящий оказывается так не просто шпион, собиратель сведений, а предатель. Глядящий грозит разрушить нашу жизнь (как ревизор). Французское *espier* в смысле *предать* появляется раньше чем в смысле *шпион* уже в бумагах 1080 года.

Присутствие в нашей действительности таких вещей как ревизор, скептический наблюдатель, шпион, подглядывающий, который может сглазить, мы обычно не соединяем в одно явление. Речь идет как будто бы о разрозненных вещах. В древнем сборнике священной поэзии Ригведе есть образ, который вмещает в себя всю стихию подглядывания, выслеживания, проверки. Второй по важности, иногда самый важный бог ведийского пантеона – Варуна, в основном бог высокого (звездного) неба или, что близко по смыслу, бог мирового океана, в котором мы все плаваем; он же бог правды. Из вещей, известных о Варуне, основная та, что повсюду сидят бесчисленные шпионы этого правителя мира и учредителя законов. Древние поэты, трезвые реалисты, не скрывали, в чем мощь всякого правителя: в хорошей секретной службе. Варуна бог насквозь просвеченного мирового океана, среды нашего обитания, и повсюду расселись его соглядатаи, переводит Елизаренкова, но точнее было бы перевести этимологически тем же словом, а именно шпионы, *Paṛi sraṣo ni shedire*¹⁰² *paṛi*, *при* нем расселись – сказано словом с тем же корнем что *резиденты* – его шпионы, тайные агенты, во множ. числе *sraṣ*. Энергичное слово, существительное, оно же основа глагола *заметить, вглядеться*. *Sraṣ* хорошо переводить на немецкий: *Späher*, шпион.

Варуна, предположительно высокое небо, всё покрывающий и обнимающий мировой океан, большеглазый, широкоглазый, тысячеглазый; повсюду расставив своих шпионов, он следит за всем и во всяком случае человеческие нарушения знает. Он не только всеобщий ревизор; он изначально, в исходной данности всё сковал жестким законом. Он везде, подобно водам мирового океана; от него не спрячешься. Остается только, приняв закон необходимости, впредь не нарушая его и служа ему, просить о милости бога правды,

¹⁰² RV I, 25, 13.

7. Кому известны птиц пути,
Летящих по поднебесью,
Владыке моря – кораблей.

Тогда через понимание божественного абсолютного закона откроется свобода близости к богам, к началам вещей. Варуна всё обволакивает еще и в том смысле, что не оставляет секретных и тайных мест, проникает в них, т. е. заполняет всё то пространство, которое есть кроме видимого, известного сейчас, и откроется позже.

10. Воссел владыка праведный
В своем жилище Варуна,
Чтоб, крепкий, самовластвовать.
11. Оттуда, всё сокрытое
Заметив, он следит за тем,
Что было и что сбудется.

Из-за своей невидимости он имеет безграничный объем, ему принадлежат все поля любого знания, а поскольку он окружил всё видимое своими наблюдателями, ему принадлежит господство над всеми тайными движениями человеческой души.

13. Плащ золотой (небо) взял Варуна,
Одежды белоснежные,
Расставил соглядатаев.
14. Лжец не возьмется лгать ему,
Ни ненавистник среди людей,
Ни – богу – лицемерные.
15. Себе создал он у людей
Почтенье беспредельное

И в наших недрах поместил [в переводе Б. Пастернака; «в утробах наших», <пер.> Елизаренковой].

У Шекспира такими божественными шпионами сходят на дно жизни старый король Лир и Корделия.

[...] Come, let's away to prison:
We two alone will sing like birds i'the cage [...]
And take upon's the mystery of things
As if we were God's spies¹⁰³.

Вводя новое действующее лицо в пространстве права, возвратим древнему слову *шпион* значения, жившие веками и тысячелетиями в этом корне: спекуляция, т. е. созерцание, не обязательно с высматриванием выгоды; скепсис, пристальное внимание, подсматривание, вглядывание; подрыв всего нашего жизненного уклада внимательным взглядом со стороны; предательство. Показать на шпиона невозможно, потому что он всегда успеет скрыться за кем-то из вездесущих божественных смотрителей. По предположению некоторых этимоло-

¹⁰³ King Lear, Act V, Scene III.

гов, к тому же корню, что *шпион*, принадлежат *настух*, *насти* и *спасти*. В древнеиндийском этот корень без *s* в начале, т. е. просто *раç*, значит тоже *смотреть*, *глядеть*, как и *сраç*.

Нередкое на процессах тридцатых годов подозрение невиновных, обвинявшихся в шпионаже и предательстве, что сам следователь шпион и предатель, было по существу правильно и вместе с тем недоказуемо и безрезультатно; подозрение делало подозреваемого вдвойне шпионом. Дело осложнялось тем, что дореволюционные ограничения на подозрение в шпионаже – не подозревается тот, кто со мной стоит на литургии, кто власть или судья, кто солидный, состоятельный и денежный, тем более если он почетный гражданин; вне подозрений аристократ во многих поколениях, ребенок, жена, – все эти традиционные алиби были революционно сняты.

В годы шпиономании шпион, который раньше был экзотикой далеко на горизонте, подступил вплотную. Всех стал душить неизвестно чего хотящий наблюдатель, глядящий из всех глаз, в том числе из моих собственных тоже. Никто ничего не боялся больше, чем шпиона в самом себе, и честный, преданный, наивный, ничего не замечающий, нескептический взгляд культивировался прежде всего как спасение от шпиона в себе.

Одевание всех одинаково серо в простой обыденный облик, отшатывание от шпиона как раз шпиона и провоцировало. Он стал заглядывать уже как-то совсем страшно и пристально повсюду, именно когда при всеобщей необеспеченности и одинаковости стало нечего наблюдать и высматривать. Как избавиться от тотальной слежки? Уничтожение всех шпионов – болезненный и самоубийственный способ. Уничтожающий начинает подозревать себя, а шпион оказывается неистребим. Что отовсюду смотрят тысячи глаз, после изгнания всех шпионов ощущается едва ли не острее чем раньше. Отовсюду смотрит Варуна, причем не просто смотрит; нередко встречается ощущение, причем не только у болезненных людей, что где-то делается сплошная магнитофонная запись или идет непрерывная кино съемка.

Статистически наиболее частый способ избавиться от шпиона – замкнуться в четырех стенах, в своей комнате, за высоким забором. Или еще глуше запереться, в обмане и отказе. Рано или поздно однако всё тайное станет явным, причем скрытному будет приписано и то, чего он не творил. *Quidquid latet apparebit, nil occultum remanebit*.

Единственный здравый, оправдывающий и спасающий способ уйти из-под надзора заключается в том, что живое показывает себя как может со своей лучшей и наиболее сильной стороны, этим отчитываясь перед глядящим. Церемониал придворного балета, одежда, подготовка тела, особенно царственного и женского, было таким показом перед зрителем императором, который в свою очередь показывал всё это устройство и себя Европе. Высший ревизор должен был умиловаться тем, что ему показывали всё самое лучшее.

В наше время показу той эпохи, когда одежда и церемониал больше всего притягивали взгляды, с некоторой натяжкой соответствует телевидение. Оно показывает всё, конечно, зрителю, но при этом есть и оглядка еще на кого-то, с большей частью неосознанным отчетом перед ним: смотри, что мы показываем зрителю. При разборе того, кому именно это говорят, остановиться трудно. В конечном счете мы остановимся перед загадкой: неясно, кому показывают. Во всяком случае дело обстоит не так, что одна часть человечества показывает что-то другой, и даже не так, что люди показывают себя сильным, властным, от которых всё зависит. Кому человечество показывает всё то, что оно показывает, в конечном счете остается в темноте.

Прежде чем перейти к другому разделу темы ревизора, кратко подытожим сказанное.

1) Что-то мы делаем только когда на нас не смотрят. Под взглядом мы ведем себя иначе, подразделяя степень ответственности; например, перед своими позволяем себе почти всё, на другом полюсе, в храме, представляя себя перед всевидящим Богом, боимся шевельнуться. В комедии Гоголя «Ревизор» главным событием становится то, как ведут себя люди, стараясь сделать так, чтобы строгий, почти божественный, потому что идущий от самой император-

ской власти, взгляд смягчился, стал своим и позволил многое, но когда появляется настоящий ревизор, все застывают не шевелясь, словно отвыкнув от движений, не позволяя себе уже ни одного жеста.

2) Преступление совершается, как принято считать, обычно ночью, когда не видно. На самом деле преступления совершаются, конечно, и днем. Но это не значит, что преступнику всё равно, смотрят на него или нет. У психологов есть понятие суженного поля зрения, когда воспринимается не всё то, что человек видит. Чуть не главная цель исправительной системы – научить преступника видеть шире. Выражение Гоголя «взглянуть вдруг на самого себя во все глаза», описывающее наше состояние при воссоединении с настоящим ревизором, предполагает, что мы бесстрашно допускаем до себя все глядящие на нас глаза.

3) Всеми глазами глядит на нас большеглазый, тысячеглазый Варуна, бог правды (справедливости). Он обволакивает всё как космический океан; от него ничего не скроется. Спрятать от него малейший проступок невозможно. Допустить его взгляд до самого себя – значит, как говорит в той же фразе Гоголь, тем самым одновременно и испугаться самого себя. В каком-то смысле это хуже чем испугаться другого: при внезапном нападении есть страх, допустим, за жизнь, но нет страха за сделанное, накопленное, например, за положенные в банке деньги, которые достанутся наследникам, за воспитанных детей. Страх перед самим собой тотальный, когда деньги перестают быть утешением, в правильности воспитания детей возникают сомнения. Религия своим обрядом, обычаем, церковным пением, утешительной практикой молитвы защищает от всемогущего всевидящего Бога как слой атмосферы от жесткой радиации. В 1930–1940 годы, когда страна лишилась защиты Церкви, страшный проникающий взгляд жестокого судьи коснулся собственно всех; почти каждый чувствовал себя под глазами секретной службы и под подозрением в шпионаже, как враг народа. То, что в местах лишения свободы к уголовникам отношение было в целом лучше, проще и человечнее, чем к политическим, объяснялось не тем, что уголовники были социально близки власти, а тем, что у уголовников не оказалось противоядия против шпионмании и они в нее включились, тогда как политические (сюда входили и верующие, счет которых среди репрессированных шел на миллионы) подозревали в шпионаже как раз шпиономанов.

4) Дети в правовом отношении особые субъекты потому, что до определенного возраста они не знают, что их видят не всегда, не полностью и не все. До школьного возраста, иногда даже до среднего школьного возраста дети не хотят побыть одни, потому что им всё равно: они всегда чувствуют себя под взглядом, но поскольку наедине с собой они не знают, под чьим, им становится страшно незнакомого взгляда и они бегут к знакомому. В детской психологии известен факт, что дошкольник и младший школьник при встрече с полицейским, наблюдающей фигурой, уверен, что полицейский знает о нем всё. На вездеприсутствии и всевидении хранителя порядка построена поэма Дмитрия Пригова о милиционере.

5) Человек, вернувшийся из мнимой невидимости в детское состояние просвеченности, к чему призывает Гоголь (рано постановить и привыкнуть жить под постоянным взглядом настоящего ревизора, совести), оказывается вне проблемы выбора между системой единовластия (семейного права в смысле всеислия отца) и системой общественного договора; единственно важным остается, насколько удастся действительно глядеть на себя во все глаза, что то же самое, что давать всем глазам себя видеть.

Всё это надо усвоить ввиду важности и трудности следующего шага. Как уже отмечено, различие между тем, кто глядит, другие на нас или мы сами на себя, не очень существенно по сравнению с главным различием между *во все глаза* и суженным зрением, дающим иллюзию скрытости. Глядящий, будь то другой или мы сами, имеет, как мы уже начинали об этом говорить, большие права. Ему может стать не интересно, и тогда он отменит представление, как надоел и был отменен театр империи Романовых, как наскучила и была остав-

лена социалистическая цивилизация. О глядящем можно поэтому говорить как об имеющем основное право, а именно право определять, быть или не быть театру истории. Глядящий имеет право на захватывающее зрелище, хочет исключительной и предельной остроты.

Мы чисто формально говорили, что право будет уводить далеко, в невидимое. Соглашались с тем, что так называемый субъект права у нас рассыпался как умственная постройка; остался в реальности носитель всего права, зритель и он же, возможно, одновременно актер; тот, кто смотрит, и тот, на кого смотрят. Глядящий требователен. Он хочет смотреть много раз, например, как проваливается, сминаясь под собственной тяжестью, высотное здание. И он хочет смотреть, подобно тому как дети жадно бегут смотреть <на> валяющегося голубя, тушу мертвой свиньи, на извлекаемые из-под упавшего здания тела. Закон запрещает теперь смотреть и показывать по телевизору эти извлекаемые тела. В другие эпохи, наоборот, почти обязывали смотреть на казни. Это предписывалось как воспитательное зрелище. Запреты на просмотр подчеркивают, насколько глядящему хотелось бы видеть. Телевизор, киноаппарат, компьютер удовлетворяют жажду смотреть; она остается ненасытной и только разгорается. «Пока под контроль не будет поставлено всё, не кончатся мистические разговоры о том, кто нам враг, кто друг», говорит способный государственный деятель. Конца сплошному просматриванию не видно.

Законно поэтому знать, чем успокоится зрение. Право зрителя, кто бы он ни был, заключается в том, чтобы видеть всё, полностью, до конца и рассчитывать на остроту пьесы, на предельность параметров. Можно сменить пьесу, но с другим содержанием пьеса должна быть снова остросюжетной. Настоящее различие между пьесами не в их содержании, не в том, как складываются отношения между играющими в ней, действующими лицами, а в мере захвата зрителя. К нему в конечном счете подбираются, его хотят задеть действующие. Они хотят увлечь, убедить глядящего, сделать так, чтобы он был доволен. Это видно на примере театральных новшеств и реформ. Используются приемы: разместить зрителей в центре, а действие по периметру, т. е. со всех сторон; повернуть прожектора в зрительный зал; актеру сойти со сцены в зал; вовлечь зрителей в действие; на музыкальном представлении добиться того, чтобы все танцевали или ритмически двигались.

Когда не удастся достать и контролировать зрителя, он обнаруживает лицо радикального скептика, шпиона, предателя. К догадке о его настоящем существовании ведет такая вещь как катарсис, по Аристотелю цель трагедии. В катарсисе высветляется глядящий, обнаруживается его перспектива.

Пусть сплошное присутствие глядящего не уходит из нашего поля зрения. Когда мы говорим, что законы, и всего меньше в демократиях, где их создание проходит по сложным процедурам, никогда не создаются *под себя*, то имеем в виду это: что просто благополучие действующих лиц никогда не может быть целью их уклада, их устава. У них в руках никогда не все права, и даже не главные. Если зритель требует всегда предельного эффекта, он всё-таки должен заботиться о сохранении труппы, иначе ему нечего будет смотреть? И вот похоже что всё-таки нет. Актер показывает всё что может зрителю, чтобы захватить его. Зритель, наоборот, от своего требования хорошей сильной игры никогда не откажется и не пожалеет актера. Право зрителя идет против самосохранения актера. Для видящего самое захватывающее зрелище всё-таки он сам. К этой теме относятся явления мира и ринга, когда в середине, в высветленном круге размах действия захватывает гораздо больше чем самосохранение (на миру и смерть красна), в том числе включая и сохранение самого даже ринга, или исторической сцены, на которой разворачивается действие. Ничего, кроме захватывающей, увлекающей силы действия, зрителю не нужно. Он забывается, забывая в том числе о самом себе.

В этом качестве и праве зрителей русские не ущербны. Они, если хотите, здесь еще более зрители, более равнодушны к действующим лицам. Зритель бессмертен, вернее,

смерть для него зрелище. Лицо явно, но взглянуть во взгляд? Много изменится, если это удастся, и первое – представление о личности. Введение зрителя, шпиона, пастуха, пока только формально очерченного, поможет нам меньше шататься, говоря о России. Кюстин чувствует себя уверенно в своих шатаниях, потому что не он первый; Чаадаев, которого он явно читал, тоже раскачивается на больших качелях в суде о своей стране.

Не нужно уличать меня в противоречиях, я заметил их прежде вас, но не хочу их избегать, ибо они заложены в самих вещах; говорю это раз и навсегда. Как дать вам реальное представление обо всём, что я описываю, если не противореча самому себе на каждом слове? (I, 234).

Размах качелей показывает величие беспредельного явления, будь то беспредел низости или, наоборот, добротности.

Вся Россия, от края до края своих равнин, от одного морского побережья до другого, внимает всемогущему Божьему гласу [...] Более всего занимает жителя земли то, что рассказывает ему о чем-то ином, нежели земля (I, 235).

Одно из удобств от введения лица зрителя касается главного, что задевает Кюстина в России, отсутствия системы права.

В России ничего нельзя отменять безнаказанно: народы, которым недостает узаконенных прав, ищут опоры только в привычках. Упорная приверженность обычаю, хранимому с помощью бунта и яда [Петр III был сначала отравлен, только потом задушен], – один из столпов здешней конституции, и периодическая смерть государей служит для русских доказательством тому, что эта *конституция* умеет заставить себя уважать (I, 242).

Это так, соглашаемся мы. Подчеркнем однако, что в качестве и праве зрителей русские несколько не ущербны. Здесь не обнаруживается различия между Западной и Восточной Европой. Как бы даже не наоборот, зритель требует здесь себе, пожалуй, больше прав, шире дает разыграть на воле историческому спектаклю, более равнодушен к действующим лицам. Кюстин много раз верно замечает небрежность к сохранению тела, например видя, как без страховки работают петербургские маляры.

Во Франции маляров всегда было немного, и они далеко не так отважны, как русские. Человек везде ценит свою жизнь во столько, сколько она стоит (I, 238).

Она стоит меньше чем захватывающий риск сидеть «рискуя жизнью, на дощечке, небрежно привязанной к длинной, свисающей вниз веревке» (там же)¹⁰⁴. Таковы права зрителя. Он бессмертен, смерть для него зрелище из захватывающих. И когда Кюстин заворожен сценой избиения простых людей чиновниками и жандармами на улице, то, хотя он возмущен равнодушием прохожих, которые не мешают происходящему, не вмешивается и он сам. Вопрос, почему никто не вступился, он должен был сначала задать себе. «Но я не здешний». Но то же русский: он не здешний, как правило. Он или смещен со своей родины, недавно поселен в Петербурге, или он уже здешний и коренной, но наплыв администрации, населения, новых образов жизни, законов создают условия оккупационного режима.

¹⁰⁴ В те же годы Гоголь зачитывал сцены из «Женитьбы», в том числе (явление XIV): «*Подколесин*. [...] Какой это смелый русский народ! *Агафья Тихоновна*. Как? *Подколесин*. А работники. Стоит на самой верхушке... Я проходил мимо дома, так щекагурщик штукатурит и не боится ничего».

Ипостась зрителя – ревизор. То, что у Гоголя он ключевая фигура, самая интересная и для мужчин и для женщин, говорит не только о том, что все заслужили наказания, но пожалуй еще больше о власти, заранее отданной ревизору. Выставление напоказ, потемкинские деревни из одних фасадов не столько обманывают ревизора – все знают, что на самом деле никого не обманывают, – сколько повышают его статус, льстят ему, разыгрывают уважение к его роли. Кюстин ошибается, будто только Запад заставляет русских выставляться и весь спектакль разыгрывается для европейского наблюдателя.

[...] Понять тот дух тщеславия, какой мучает русских и извращает в самом источнике установленную над ними власть.

Это злосчастное мнение Европы – призрак, преследующий русских в тайниках их мыслей; из-за него цивилизация сводится для них к какому-то более или менее ловко исполненному фокусу (I, 245).

Скорее всего, Европа только ипостась ревизора, той внимательной инстанции, перед которой отчитываются русские. Или, идя на компромисс с Кюстином, можно согласиться с тем, что, показывая себя, страна прежде всего хочет продемонстрировать, что она не уступит Европе. Соревнование при этом идет вовсе не за то, чтобы стать Европой или перенять в подлинности европейскую цивилизацию, демократию, гуманистические традиции и т. д. Критики, которые упрекают нас, что мы переняли технику, но не ее дух, или даже только продукты техники, но не ее саму, не переняли суть передовой цивилизации, должны понять, что наша цель не в подражании им, а в том чтобы не промахнуться, не упустить разыграть перед глядящим пьесу не меньшего размаха, пусть совсем другую. Если окажется, что размаха не получится без вещей, показанных Западом, то взять их.

Достижение Кюстина – открытие долгой традиционности России, исправление часто встречающегося ошибочного взгляда, будто эта страна движется от уклада к укладу. За неимением узаконенных прав она полагается на привычку. Ее постоянный уклад – перманентная революция, она обеспечивает остроту исторического спектакля (узаконить перманентную революцию по Троцкому значило бы отменить ее). Изменение правопорядка в такой ситуации принципиально невозможно. Опора обретается всегда в том неписаном законе, который был и остается единственной конституцией, т. е. в обычае. Тирания и бунт против нее здесь не противоположные вещи, а взаимно необходимые оборотные стороны друг друга. Тирания и есть бунт. Бунт, когда он состоится, развернет тот же методический, холодный, размеренный порядок, что тирания, т. е. подтвердит их тождество, особенно в аспекте их крайности, беспредела.

[...] И у самых цивилизованных наций зверство в людях не исчезло, а всего лишь задремало; и всё же методичная, бесстрастная и неизменная жестокость мужиков отличается от недолговечного бешенства французов. Для последних их война против Бога и человечества не была естественным состоянием [...] Здесь убийство рассчитано и осуществляется размеренно; люди умерщвляют других людей по-военному скрупулезно, без гнева, без волнения, без слов, и их спокойствие ужаснее любых безумств ненависти. Они толкают друг друга, швыряют наземь, избивают, топчут ногами, словно механизмы, что равномерно вращаются вокруг своей оси. Физическая бесстрастность при совершении самых буйных поступков, чудовищная дерзость замысла, холодность его исполнения, молчаливая ярость, немой фанатизм [...] в этой удивительной стране самые бурные вспышки подчинены какому-то противоестественному порядку; тирания и бунт идут здесь в ногу, сверяя друг по другу шаг [...] невзирая на необъятные просторы, в России от края до края всё исполняется с

дивной четкостью и согласованностью. Если кому-нибудь когда-нибудь удастся подвигнуть русский народ на настоящую революцию, то это будет смертоубийство упорядоченное, словно эволюции полка [...] В результате подобного единообразия естественные наклонности народа приходят в такое согласие с его общественными обычаями, что последствия этого могут быть и хорошими, и дурными, но равно невероятными по силе.

Будущее мира смутно; но одно не вызывает сомнений: человечество еще увидит весьма странные картины, которые разыграет перед другими эта Богом избранная нация (I, 305 сл.).

Бунтующие, как говорится, идут против всего святого. Тирания тоже всегда уже замахнулась на божественное право.

Эта непрерывная царственность, которой все непрерывно поклоняются, была бы настоящей комедией, когда бы от этого всечасного представления не зависело существование шестидесяти миллионов человек, живущих потому только, что данный человек, на которого вы глядите и который держится как император, позволяет им дышать и диктует, как должны они воспользоваться его дозволением; это не что иное, как божественное право в применении к механизму общественной жизни; такова серьезная сторона представления, и из нее проистекают вещи настолько важные, что страх перед ними заглушает желание смеяться (I, 244).

Бунт и тирания тождественны по давней традиции. Россия в этом отношении оказывается не молодой страной.

Под всякой оболочкой приоткрывается мне лицемерное насилие, худшее, чем тирания Батыея, от которой современная Россия ушла совсем не так далеко, как нам хотят представить (I, 246).

Быть действующим лицом во всемирном представлении захватывает больше чем благополучие собственного тела. Послушание и бунт составляют две фазы этой захваченности. Бунт начинается никогда не против размаха государственного представления, скорее наоборот. Кюстин угадывает:

Деспотизм делает несчастными народы, которые подавляет; но нельзя не признать, что изобрели его для удовольствия путешественников, каковых он всечасно повергает в удивление (I, 232).

Жители собственной страны – тоже нездешние или не совсем здешние путешественники, жертвы и зрители одновременно. Их собственное несчастье входит полноценно в игру, придавая остроту представлению. Распределение прав между жертвами и зрителями можно оценить так: чем меньше их у действующего (страдающего) лица, актера, тем больше зато у зрителя. У Плотина весь мир театр, и те же игроки, которые берут разные роли и разыгрывают их до смерти, меняя жизни как маски, оказываются зрителями представления. Жизнь и благополучие актера, как уже отмечалось, не входят в замысел зрителя; прежде всего нужен лишь размах пьесы, чтобы не перестало быть захватывающе интересно.

По зрительским правам страна, описываемая Кюстином, не уступает поэтому никакой другой, что видно по диапазону разрешенных или принятых хвалений и осуждений. Каждый компетентен и привык судить общественные дела, по-разному, конечно, в фазе дисциплины и в фазе бунта. Повертывается ли суд в сторону одобрения или приговора, несущественно; поворот туда или сюда лишь функция чередующихся полярных состояний, которые принадлежат друг другу как две стороны листа. В 1839 году главенствует явно фаза дисциплины, но легко просматривается и сторона бунта.

[...] в глубине души они судят свою страну еще более сурово, чем я, ибо лучше меня ее знают. Вслух они станут браниться, а про себя отпустят мне грехи [...] (I, 252).

Податливый иностранец, беззащитный без противоядий в непривычной среде, сразу и широко начинает упиваться всеми предоставляемыми ему немисливо широкими правами зрителя, ревизора, судьи. Он полон восторгов, проклятий, идей переделки страны, подстегивая своей книгой, как может, ее действующих лиц и подбивая их на еще более крупную игру. Не называйте это провокацией; тут просто естественное расширение человеческого существа при выходе на свободу с получением не по документам, а из воздуха страны, из ее нрава и обычая, разрешения судить о ней в целом.

Тяжелое чувство, владеющее мною с тех пор, как я живу среди русских, усиливается еще и оттого, что во всем открывается мне истинное достоинство этого угнетенного народа. Когда я думаю о том, что мог бы он совершить, будь он свободен, и когда вижу, что совершает он ныне, я весь киплю от гнева (I, 259).

Поражает мгновенное пропитывание свободой страны, громадными правами, которые даны здесь зрителю требовать от действующих лиц крупного. Он свистит и топает ногами в ожидании эффектов. От воли у него идет кругом голова, он хочет и ждет всё перетрясти и перестроить заново.

Я не устаю повторять: чтобы вывести здешний народ из ничтожества, требуется всё уничтожить и пересоздать заново (I, 283).

Чем неустанно русские и занимаются. Незащищенный, неподготовленный маркиз в этом отношении стал вдруг благодаря своей впечатлительности и природному мимесису больше русским чем русские. Он показал лишний пример удивительной легкости вращивания – нам еще придется об этом говорить – иностранцев в нашу систему, императоров как Николай I, у которого только одна прабабушка была русская, массы чиновников, ученых, как языковеда Востокова Александра Христофоровича, русского филолога и поэта, академика, который так перевел свою немецкую фамилию Остенек, – длинный ряд, к которому прибавьте еще множество перебирающихся сюда, наоборот, с Востока на Запад из Азии. Русские с самого начала не название этноса. Подсчитывать, сколько и кого в русских вошло и входит, тяжелая и, главное, неясная по своим целям задача, совсем неинтересная рядом с другой: с явлением загадочной податливости, одновременно втягивающей и формирующей, нашего пространства. Что втягивает и ассимилирует, что это за воронка? Что образуется по неписанным законам? Интеллектуального понимания здесь, пожалуй, недостаточно. В «Воине и мире» Льва Толстого замечено, что в начале октября 1812 года из Москвы выходила уже другая армия, не та стройная французская, которая входила туда 1 сентября, или это была вообще уже не армия. Неоднократно высказывалось мнение, что силой, ассимилировавшей варягов в России, был язык. Но вот Петр I ввел массу иностранных слов и приближенный к западному алфавит; Николай I, наоборот, заставлял во дворцах говорить по-русски, так что дамы специально выучивали несколько русских фраз, чтобы сказать при его приближении. Язык может легко измениться. Меньше меняется то, что Кюстин называет нравы народа – продукт постепенного воздействия законов на обычаи и обычаев на законы (I, 290).

Любой язык, на котором мы заговорим, окажется в каком-то более глубоком смысле тем же самым. При дворе Кюстин наблюдает приверженность французскому тону при отсутствии духа французской беседы. Я прекрасно видел за этим тоном русский ум, колкий, саркастичный, насмешливый [...] ум свой русские также скрывают от иностранцев (I, 344).

Мы говорим о том единственном праве и обычае, какими дышим как нашей единственной средой. Ни малейшей возможности, из-за незнания другой, сопоставить своё с чужим или с чем-то его сравнить, у нас нет. Мы понятным образом знаем только то, что нас окружает. Мирмеколог, естественно, наблюдает свой муравейник. Французская, американская правовые системы втягивают в себя по-своему людей, которые дают себя втянуть, когда не продолжают принадлежать старой. Если я говорю, что Кюстин слился с нашим настроением, которое Пушкин выразил словами «*всё* надо делать с этим народом и с этой страной», то не имею в виду, что в других странах дело обстоит иначе. Во Франции тоже хотели всё переменить. Вглядываясь в своё, мы всегда начинаем замечать много редкостных вещей, и при первом приближении кажется, что они уникально наши. Наблюдая себя, сам себе представляешь ни на что не похожим. И только когда докапываешься до своей интимной уникальности и осмеливаешься извлечь ее на свет, как Гераклит говорил, что он докопался до самого себя, мир начинает слышать в твоих откровениях своё. Только одиночка, ни на кого не похожий, может всерьез рассчитывать на то, что с ним отождествит себя всякий (Эжен Ионеско). Так же надо относиться к уникальности России у Кюстина.

Он видел Петербург, о котором император ему сказал, что это еще не русский город, теперь спешит в Москву.

Пускай название «Москва» звучит весьма современно и вызывает в памяти достовернейшие события нашего столетия, – удаленность бывшей столицы и величие этих событий придают ей поэтичность, как никакому другому городу. В этих эпических сценах есть нечто величественное и странным образом контрастирующее с духом нашего века, века геометров и торговцев ценными бумагами. Так что я с огромным нетерпением жду когда окажусь в Москве [...] хочу представить сколько возможно полную картину сей обширной и ни на что не похожей империи (I, 334).

Он удивляется и почти в каждой фразе, как видим, настаивает на уникальности этого образования, России. Удивляемся и мы тоже, и будем удивляться, хотя воздержимся от сравнений «Россия – Запад». Такие сравнения и противопоставления лишь продолжают, допустим, с обратным знаком, европейское этнографическое отношение к нам.

Как обстоит дело с миссией России, захватом мира? Все государственные образования складывались в перспективе мира. Ни одно не ограничило себя заранее оговоркой, что его устройство непригодно для других. Любая система правопорядка по своему замыслу универсальна. Инерция каждого государства толкает его к расширению. Почти всякое государство есть тяжелая машина, вне предельной цели кажущаяся нецелесообразной. Кюстин замечает, что без мировой задачи всё окажется неинтересно, величие страны станет бессмысленным.

Из подобного общественного устройства [введенного Петром деления всех на 14 классов свободных военных и гражданских, прикасание к телу которых карается по суду и остальную массу крепостных и солдат, чье тело не неприкосновенно] проистекает столь мощная лихорадка зависти, столь неодолимый зуд честолюбия, что русский народ должен утратить способность ко всему, кроме завоевания мира [...] тот избыток жертв, на какие обрекает здесь общество человека, не может объясняться ничем иным, кроме подобной цели (I, 340).

Даже если люди сами того не знают, тем более не высказывают вслух, победа над целым миром, мысль о его завладении составляет тайную жизнь России. И снова сам Кюстин заражается этой тайной жизнью, легко втягивается в настроение готовности к

любой жертве ради предельной цели, в мировую миссию, присоединяется к ней тем, что формулирует ее на свой лад, отталкиваясь от родного, близкого. Он планирует для России:

Я вижу этого колосса вблизи, и мне трудно себе представить, чтобы сие творение божественного Промысла [...] его предназначение – покарать дурную европейскую цивилизацию посредством нового нашествия; нам непрестанно угрожает извечная восточная тирания и мы станем ее жертвами, коли навлечем на себя эту кару (I, 341 сл.).

5. Фасад и изнанка

Обратим внимание на интенсивный показ. Что мы обычно старательно показываем? Уже говорилось о самом распространенном способе скрыть что-то важное от наблюдателя (шпиона): подчеркнутым образом продемонстрировать перед ним то, что должно привлечь, приковать, как говорится, к себе его взгляд. В меру нарочитой выраженности этого показа всегда происходит такое же интенсивное сокрытие. Сокрытие при этом бывает и от самих же себя. Так пьяница говорит, что ему надо, чтобы помочь жене в хозяйстве, обязательно сходить в магазин за спичками; он уверен что именно так дело и обстоит.

Когда смотришь на что-то, твой взгляд может быть указателем для другого, поэтому на скрываемое в принципе не смотрят. Противоправные вещи делаются характерным образом с отводом глаз своих и чужих, в каком-то смысле не глядя. Преступник не лжет, когда говорит сгоряча в начале следствия, что ничего плохого не делал: он в меру возможности действительно старался не смотреть на то, что делает, и следствие должно только спокойно напомнить ему о нем самом. Делая недолжное, мы обязательно делаем при этом что-то должное, например, карманник говорит с обворовываемым любезным вежливым тоном, или наоборот сердитым скандальным, но делая вид, что он обязан быть сердитым. Делая недолжное, мы одновременно делаем что-то другое, отвлекающее, и наше внимание распределено между двумя вещами, из которых одну мы неизбежно замечаем меньше чем другую.

Интенсивный показ Кюстин видит везде в России, при дворе, на большой Макарьевской ярмарке и в простой деревне тоже.

Я был удивлен внешним обликом некоторых деревень: их отличает неподдельное богатство и даже своего рода сельская изысканность, приятная для взора; все дома здесь деревянные; они стоят в ряд вдоль единственной улицы и выглядят вполне ухоженными. По фасаду они покрашены, а украшения на коньке их крыш, можно сказать, претенциозны – ибо, сравнивая всю эту внешнюю роскошь с почти полным отсутствием удобных вещей и с той нечистоплотностью, какая бросается вам в глаза внутри этих игрушечных жилищ, вы сожалеете о народе, еще не ведающем необходимых вещей, но уже познавшем вкус к излишествам [...] Со всей своей невероятной отделкой из досок, высверленных насквозь и сверкающих тысячью красок, они напоминают увитые цветочными гирляндами клетки [...] Повсюду тот же вкус ко всему, что бьет в глаза! С крестьянином господин его обращается так же, как и с самим собой; и те и другие полагают, что украсить дорогу естественнее и приятнее, чем убрать свой дом изнутри [...] (I, 363).

Придворный театр продолжается везде, *mutatis mutandis*, вплоть до деревенской избы и до дома богача, который виден и так, богатый, но кроме того выставляет себя. Демонстративность становится сплошной во всей стране.

В России изобилие – предмет непомерного тщеславия; я же люблю великолепие, только когда оно существует не для видимости, и мысленно проклиная всё, что здесь пытаются сделать предметом моего восхищения. Нации украшателей и обойщиков не удастся внушить мне ничего, кроме опасения быть обманутым; ступая на эти подмости, в это царство декораций, я испытываю одно-единственное желание – попасть за кулисы, мной владеет искушение приподнять уголок холщового задника. Я приезжаю, чтобы увидеть страну, – а попадаю в театр (I, 363 сл.).

У России были периоды интенсивного показа, как раз те, когда важно было многое скрыть. Когда Россия выставляется иностранцу, она сама во все глаза смотрит.

Петр I выстроил для своих бояр ложу с видом на Европу; заперев в бальной зале своих скованных по рукам и ногам вельмож, он позволил им издали и с завистью взирать в лорнет на цивилизацию, усвоить которую им было запрещено: ведь заставлять копировать – значит мешать сравняться с оригиналом! (I, 349).

Играют, не забудем, все, причем некоторые с тем высшим искусством, когда почти не видно, что они играют. Французский дипломат о Николае I летом 1835 года: он превратил свою империю в декорацию, украшающую театр, на котором император призван играть главную роль: всё его внимание обращено на зрителей, хотя ни единым словом, ни единым жестом он не выдает, что участвует в игре. (I, 519).

Всё выставленное для смотрения естественно наводит на мысль о том, что не выставлено. За всё показное естественно хочется заглянуть. Это значит, что показыванием обращают внимание на скрываемое, именно тем, что его скрывают? Да, именно так. Показанному противостоит вовсе не скрытое – оно скрыванием тоже подчеркивается. Когда Фрейда пригласили к закомплексованному подростку, жившему в семье, то в первые же минуты разговора этот молодой человек, хотя его о том не просили, показал пятно на своей одежде и сказал, что оно от нечаянно пролитой еды. Фрейд мысленно поблагодарил его за то, что он этим сообщающим сокрытием избавил его от лишних расспросов.

Показыванию-скрыванию, скрыванию-показыванию (демонстрируемое и спрятаваемое в одинаковой мере подчеркиваются) противоположна незаметность, невзрачность (неприметность). В меру показа показного на скрываемое обращается больше чужое внимание, чем свое; самому мне кажется что я что-то действительно скрыл, хотя обычно мне удается отвести глаза от скрываемого только в той мере, в какой начинают подозревать, что я скрываю что-то большее и худшее. Внимание, отдаваемое показу и скрыванию, т. е. показу особого рода, оттягивается от невзрачного, неприметного. Оно не показывается и не скрывается, т. е. стало быть вообще никак не улавливается. В одежде Жака Деррида поражала гармония между цветом глаз и большим галстуком, явное портновское мастерство пиджака, заведомо не купленного в магазине. «Попугай», говорили о нем недруги. По контрасту: одежда со вкусом одетой парижанки никак не заметна на ней. Только случайно пораженные этим, мы начнем обращать внимание на детали ее костюма.

Солдат-«дед» показным, шутовским образом отдает требуемую по уставу честь офицеру и этой демонстрацией скрывает-показывает весь ряд неуставных отношений. Отдание чести показано офицеру, демонстративность показана себе, кому угодно и в том числе офицеру, который по долгу службы обязан держаться уставных отношений, причем, конечно, знает и о неуставных и делает вид, что их не замечает. Здесь и показываемое, и скрываемое, так сказать, в равной мере на виду. А невзрачное, неприметное? Это, например, плохие зубы отдавшего честь «деда». Неписанный закон, обычное право неуставных отношений при дедовщине не включает такое обслуживание «дедов» «духами», как чистка зубов, а у «деда» внимание от заботы о витаминах и хорошей зубной щетке уже оттянуто на соблюдение порядка дедовщины.

Аналогичным образом как в патриотическом наборе превосходных оценок своей страны, так и в диссидентском стандартном наборе¹⁰⁵ обличений родных порядков одинаково ускользает невзрачное, неприметное. Напоказ выставляют чтобы скрыть, скрывая обра-

¹⁰⁵ Впервые мы встречаем этот набор в подробном виде в «Записках о московитских делах» (1517–1549) Зигмунда Герберштейна.

щают внимание на скрытое. Среди этого показа-сокрытия важное остается никем не замечено. Скрипач показывает свои сильные стороны, заслоняя ими известные ему недостатки. Слушателя задевает однако не показанное, а то невыразимое, что достигается неприметно неуловимыми оттенками. Предписать, расписать такие вещи невозможно.

Право останется неправом, если формализует всё, не оставив места для неуловимых вещей. Всё вывести из тени на свет невозможно. Обычно закон оставляет почти нетронутой область собственности, в том числе так называемой интеллектуальной. Неразличение между скрываемым и невидимым приводит к путанице, о которой придется еще говорить. Сложность жизненного уклада, когда все жители, демонстрируя одно показом, другое утаиванием, отвлекаются вниманием от невыразимого и неприметного, прибавляет стране энергию кипящего котла.

Зрелище этого общества, все пружины которого оттянуты, как у готового к бою орудия, так страшно, что у меня голова идет кругом (II, 31).

[...] Революция в России будет тем ужаснее, что она свершится во имя религии [...] опасность час от часу приближается, зло не отступает, кризис запаздывает; быть может, даже наши внуки не увидят взрыва, но мы уже сегодня можем предсказать, что он неизбежен [...] (II, 15).

С введением нового разграничения задача необходимым образом осложняется. В области неприметного – не скрываемого, а невидимого – располагаются самые действенные вещи. Кюстин ограничивается в основном только нетрудным заглядыванием за фасад потемкинской деревни и разоблачением скрываемого, т. е. тоже показываемого, оставляя без внимания невидимое и неприметное, столь дорогое, например, для Тютчева. Кюстин входит, несмотря на кислый спертый воздух, в крестьянскую избу, такую красивую снаружи, где надо разбудить очередного ямщика, и видит, как мужчины и женщины в одежде вповалку спят на полу и на скамьях.

В этой стране нечистоплотно всё и вся; однако в домах и одежде грязь бросается в глаза сильнее, чем на людях: себя русские содержат довольно хорошо [...] (I, 366).

Скрываемое здесь подчеркнуто демонстрируется.

Так мафия картинно прячется, скрывая себя, чтобы подчеркнуть свое присутствие. В том, чтобы ей было приписано больше эффектных тайных дел, она заинтересована. Одно из средств подчеркнуть скрываемое – жестоко наказывать заглянувшего за занавес. Противоречие тут будет констатировать только очень поверхностная психология. Любой ребенок, чтобы привлечь внимание к секретной коробочке, строго запретит ее брать и будет готов к крайним санкциям за нарушение, несоизмерным с ценностью спрятанного там. В меру заглядывания за выставленный напоказ фасад впечатлительный Кюстин поддается очарованию ситуации вдвойне. Он подозревает жуть в подземных казематах Шлиссельбургской крепости («за такой скрытностью непременно прячется глубочайшая бесчеловечность; добро так тщательно не маскируют») и, конечно, тем более чувствует страшную угрозу наказания себя как шпиона. Ему кажется, что сейчас к нему протянется служебная рука в перчатке и прямо с пути отправит в Сибирь. Герцен:

Горько улыбаешься, читая, как на француза действовала беспредельная власть и ничтожность личности перед нею; как он прятал свои бумаги, боялся фельдъегеря и т. д. Он, проезжий, чужой, чуть не усакал от удушья –

у нас грудь крепче организована. Мы привыкаем жить, как поселяне возле огнедышащего кратера¹⁰⁶.

Вдруг схватят, как Коцебу, как Сперанского, как многих поляков, как француза Перне в Москве.

Хозяин дома обещал, что назавтра в четыре утра у дверей гостиницы меня будет ожидать унтер-офицер.

Я не уснул ни на минуту; я был поражен одной идеей [...] А что если этот человек не отвезет меня в Шлиссельбург, за восемнадцать лье от Петербурга, а вместо этого по выезде из города предъявит приказ препроводить меня в Сибирь, дабы я искупал там свое неподобающее любопытство, – что я тогда буду делать, что скажу? для начала надо будет повиноваться; а потом, когда доберусь до Тобольска, если доберусь, я стану протестовать... (I, 360)

Все эти страхи множатся вокруг сокрытия и разоблачения. Сокрытие охраняется, причем вовсе не обязательно так, что охрана ставится при скрываемом: скорее наоборот, сначала охрана, т. е. запрет видеть, а потом под этот запрет подведено, что именно надо скрывать. Общий запрет смотреть во все глаза вызван страхом шпиона.

Кюстин, полностью вживаясь в ситуацию, делает и следующий стандартный шаг: выставляет напоказ, как все, видимость благополучия, надевает на себя общепринятое успокоительное лицо.

Несмотря на всю мою независимость в суждениях, которой я так горжусь, мне часто приходится в целях личной безопасности льстить самолюбию этой обидчивой нации, ибо всякий полуварварский народ недоверчив и жесток (II, 11).

Я соберу все письма, которые написал для вас со времени приезда в Россию и которые не отправлял из осторожности; я прибавлю к ним это письмо и надежно запечатаю всю пачку, после чего отдам ее в верные руки, что не так-то легко сделать в Петербурге. Потом я напишу вам другое, официальное письмо и отправлю его с завтрашней почтой; все люди, все установления, которые я здесь вижу, будут превознесены в нем сверх всякой меры. Вы прочтете в этом письме, как безгранично я восхищен всем, что есть в этой стране и что в ней происходит... (II, 25).

Это понятно, знакомо и типично, всем известно. Но Кюстин делает еще один шаг в разборе, он замечает вещь, которую в общем тоже все знают, но о которой не задумываются.

Забавнее всего то, что я уверен: и русская полиция, и вы сами поверите моим притворным восторгам и безоглядным и неумеренным похвалам (там же).

Приемы конспирации совершенствуются. Кюстин уже засовывает написанное под подкладку шляпы.

Посмотрели бы вы, как старательно прячу я свои писания, ибо любого моего письма, даже того, которое показалось бы вам самым невинным, довольно, чтобы меня сослали в Сибирь. Садясь писать, я запираю дверь, и когда мой фельдъегерь или кто-нибудь из почтовых служащих стучится ко мне, то прежде чем открыть, я убираю бумаги и делаю вид, что читаю (II, 61).

¹⁰⁶ А. И. Герцен. Собр. соч. в 9-ти тт. М., 1959, т. 9, с. 125.

С ростом предосторожностей растет конечно ощущение себя шпионом и делается постоянным страх.

Каждое свое послание я складываю без адреса и прячу как можно надежнее. Но все мои предосторожности окажутся тщетными, если меня арестуют и обыщут мою коляску (II, 39).

Деятельность демонстративного показа и казалось бы противоположная деятельность скрывания совпадают в их одинаковой цели: ограничении зрения. Разоблачение скрытого вовсе не обязательно служит смотрению во все глаза; разоблачая скрываемое, закрывают глаза на показываемое. Поскольку показное дополнено скрытым, правда прячется не только в показном, но и в скрываемом. Между тем от показного обычно никто и не ждет правды; неправда показного скорее просто успокаивает наблюдателя, поощряя его тенденцию, и без того всегда сильную, искать скрытого.

В ситуации ограничения зрения уставное, писаное, узаконенное право часто выполняет задачу фасада, который должен спрятать то, что демонстративно скрывается.

Для чего служат установления в стране, где правительство не подчиняется никаким законам, где народ бесправен и правосудие ему показывают лишь издали, как достопримечательность, которая существует при условии, что никто ее не трогает [...] (II, 22).

Выставленное напоказ, уставное право может быть собственно каким угодно, мечтательным или заоблачным. Содержательно оно мало кого интересует. На верховном уровне конституционного права и в отношении главных принципов оно как раз в жесткие эпохи бывало очень мягким, подобно отмене смертной казни в XVIII веке в опережение Европы или самой демократичной в мире конституции, принятой VIII Чрезвычайным съездом Советов СССР 5 декабря 1936 года.

Статья 124. [...] гарантируется законом:

- а) свобода слова,
- б) свобода печати,
- в) свобода собраний и митингов,
- г) свобода уличных шествий и демонстраций.

Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий, запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для их осуществления.

Статья 127, неприкосновенность личности; статья 128, неприкосновенность жилища и тайна переписки.

Кюстин:

Россия осуществляла прогресс в области политики и законности только на словах; судя по тому, как соблюдаются в этой стране законы, их можно безбоязненно смягчить [...] Надо бы сказать русским: для начала издайте указ, позволяющий жить, а потом уже будете мудрить с уголовным правом (II, 22).

Отмена смертной казни хуже, чем ее сохранение, если есть телесное наказание, иногда смертельное, и если условия содержания под стражей невыносимо дурны. Отмена смертной казни сверху не имеет смысла, если общее мнение расположено расстреливать негодяев без суда.

Когда слушалось дело Алибо [двадцатилетний, хотел 25 июня 1836 года убить короля Луи-Филиппа], один русский, отнюдь не крестьянин, а племянник одного из самых мудрых и влиятельных людей в России, возмущался французским правительством: «Что за страна! – восклицал он. – Судить такое чудовище!.. Почему его не казнили на следующий же день после покушения!» (там же).

С ситуацией номинального права нам придется часто встречаться. Пока заметим, что в ней возникает характерная неразбериха, функция которой – заставить отчаяться в возможности найти недвусмысленное законное решение и таким путем возвратиться к неписаному праву или вообще к неправу. Не то что законы путаны, а сама законность и есть «путаница[a] в религиозных, политических и правовых вопросах». Именно эта путаница называется в России «общественным порядком» (II, 23). Характерно, что русское слово *порядок* в ряду своих значений начиная с *состояния благоустройства и налаженности* доходит до *обычая, обыкновения*, причем в дурном смысле (*старый порядок*). На российско-германском симпозиуме в Петербурге (1997) возникло недоразумение, потому что русская сторона в определенной фазе обсуждения многократно употребляла выражение *российские порядки* в смысле *беспорядка*. В немецком языке значения *обычай, обыкновение* у слова *Ordnung* нет.

Кюстин всё больше утверждает в ощущении, которое у него было с самого начала: сверху и снизу, в правительстве и крестьянстве Россия в отношениях господства и подчинения одинакова.

Едва выбившись из грязи, человек тотчас получает право, более того, ему вменяется в обязанность помыкать другими людьми и передавать им тумачи, которые сыплются на него сверху; он причиняет зло, дабы вознаградить себя за притеснения, которые терпит сам. Таким образом дух беззакония спускается вниз по общественной лестнице со ступеньки на ступеньку и до самых основ пронизывает это несчастное общество, которое зиждется единственно на принуждении, причем на принуждении, заставляющем раба лгать самому себе и благодарить тирана; и из такого произвола, составляющего жизнь каждого человека, рождается то, что здесь называют общественным порядком, то есть мрачный застой, пугающий покой, близкий к покою могильному; русские гордятся, что в их стране тишь да гладь (II, 29).

Как бы даже не оказалось, что верхи одни способны напомнить о справедливости. *Но они наоборот подлаживаются к низам.*

Можно было бы избежать многих бед, если бы человек, находящийся у кормила власти, подал пример смягчения нравов. Но чего ждать от народа льстецов, которому льстит его государь? Вместо того, чтобы поднять народ до себя, он сам опускается до его уровня (там же).

Ситуация в России оказывается, как и на современном Кюстину Западе, кризисом власти. Власть перестала быть началом, ведущим принципом и занята самосохранением за счет приспособления к обществу. Вместо того, чтобы сопротивляться толпе – у Цицерона такое сопротивление есть главное достоинство государственного деятеля, – власть опускается до уровня толпы. Здесь еще одна причина, почему законы могут быть сколь угодно мечтательными и идеальными. Внедрить такие законы сверху некому; сверху спешат приспособиться к нравам всех. Все могут надеяться, что их привычки и обычаи будут поняты.

Когда император или члены императорской фамилии едут из столицы в Москву по «лучшей в мире дороге», во всяком случае ухоженной, ломовые извозчики, скот и путе-

шественники направляются по параллельной, некрасивой и ухабистой. В глаза бросается неравенство: ради одного человека теснятся тысячи. По сути никакой новый организующий принцип этим распорядком не вводится; поведение верховного лица дублирует и поощряет манеру езды каждого, у кого средство передвижения богаче, мощнее и быстрее, – манеру езды, которая делает движение «войной» и «держит в напряжении ум и чувства» (II, 44). Вводимый сверху порядок стал бы началом и принципом, если бы показал пример равенства на дорогах. Но такой пример потребовал бы огромного риска от правящего лица, его выступления наперекор всем – как раз того сопротивления, которое делает власть настоящей властью. Кюстин, монархист и реставратор, помнит такое в недавней истории Франции.

Король, который говорил «Франция – это я», останавливался, чтобы пропустить стадо овец, и во времена его правления любой путник, пеший или конный, любой крестьянин, шедший по дороге, повторял принципам крови, которых встречал по пути, нашу старую поговорку: «Дорога принадлежит всем» [...] (II, 38).

Чтобы законы начали действовать, т. е. начали собственно существовать, – недействующий закон создает *путаницу* и хуже чем если бы закона вообще не было, – власть должна уметь показать *другое и работающее* их применение, чем простое приспособление их к обычаю и обычая к ним.

[...] Важны не столько сами законы, сколько способы их применения.

Во Франции нравы и обычаи всегда смягчали политические установления; в России они, наоборот, ужесточают их, и это приводит к тому, что следствия становятся еще хуже, чем самые принципы (II, 39).

В самой по себе монархии, единовластии, как принципе пока ничего совсем плохого нет.

И еще. Разница между писаным законом и законом обычая (нрава) похожа на ту, которую Кюстин заметил между тихим и «настоящим» раскачиванием на качелях.

Несколько девушек, обычно от четырех до восьми, тихонько раскачивались на досках, подвешенных на веревках, а в нескольких шагах от них, повернувшись к ним лицом, раскачивалось только же юношей; их немая игра продолжается долго [...] тихое покачивание – своего рода передышка, отдых между настоящим, сильным раскачиванием на качелях. Это очень мощное, даже пугающее зрелище [...] когда на качелях раскачиваются всерьез, на них, сколь я мог заметить, не бывает больше двух человек разом; эти два человека – мужчина и женщина, двое мужчин либо две женщины – всегда стоят на ногах один на одном краю доски, другой – на другом и изо всех сил держатся за веревки, на которых она подвешена, чтобы не потерять равновесие. В этой позе они взлетают на страшную высоту, и при каждом взлете наступает момент, когда качели, кажется, вот-вот перевернутся, и тогда люди сорвутся и упадут на землю с высоты тридцати или сорока футов; ибо я видел столбы, которые были, я думаю, вышиной добрых двадцать футов. Русские, обладающие стройным станом и гибкой талией, на удивление легко сохраняют равновесие: это упражнение требует недюжинной смелости, а также грации и ловкости (II, 47).

Подобный размах, когда он всерьез и по-настоящему, похож на риск маляра на одной доске и веревке. Непохоже что этому размаху есть безопасный предел или вообще какая-либо гарантия безопасности в обществе, где острота бытия ценится дороже жизни. Предельное усилие имеет практическую необходимость и повседневное применение в образе жизни

русского крестьянина-робинзона (выражение Льва Толстого). Заселение восточноевропейской равнины, выживание в тощие годы, освоение Сибири, сохранение социальной базы при частых выселениях и переселениях и во время войн целиком зависело от умения крестьянина освоиться в одиночку. Конечно, всё это достигалось прежде всего благодаря лесу, но так или иначе не без предельного усилия. Робинзона сумел разглядеть в мужике и маркизе.

Русский крестьянин предприимчив, он умеет найти выход из любого положения; он никогда не выходит из дому без топора – это небольшое железное орудие в умелых руках жителя страны, где еще есть леса, может творить чудеса. Если вы заблудились в лесу и при вас есть русский слуга, он в несколько часов построит хижину, где можно переночевать, причем с большим удобством и уж наверняка в большей чистоте, чем в старой деревне (II, 49).

Быстрота, с какой русская цивилизация перебрасывалась из Новгорода в Киев, потом во Владимир, потом в Москву, потом в Петербург, объяснялась отчасти тем, что на старом месте становилось в разных отношениях грязно, и люди быстро и с удовольствием перебирались в свежесрубленные новенькие дома, которые легко строили на любом новом месте. И места, везде знакомого равнинного, было, казалось, неограниченно много.

Однородность России связана с ее равнинностью. О Николае Первом говорили, что в планировке страны (широкие улицы и площади, одноэтажная застройка, прямые дороги) он достигал гладкости биллиардного стола, по которому шары катились бы без помех из конца в конец. Унификация на наших просторах вещь известная. Но вот другая рядом с ней, неудобная для обсуждения; она всеми ощущается, не поддаваясь определению. Условно можно говорить о заразительности пространства. Кюстин, как всегда, податливо уступает себя этому заражению и удивленно смотрит на то, что с ним происходит.

Вчера вечером нас вез мальчик, которого мой фельдъегерь не раз грозился побить за медлительность, и я разделял нетерпение и ярость этого человека; вдруг из-за ограды выскочил жеребенок, которому было всего несколько дней от роду и который хорошо знал мальчика: он принял одну из кобыл в нашей упряжке за свою мать и с ржаньем побежал за моей коляской. Маленький ямщик, которого и без того ругали за нерасторопность, хочет, тем не менее, остановиться вновь и помочь жеребенку, ибо видит, что коляска может задавить его. Мой курьер властно запрещает ему спрыгивать на землю; мальчик как истинно русский человек подчиняется и застывает на козлах, словно окаменев, не произнося ни единого слова жалобы, а кони по-прежнему мчат нас галопом (II, 56).

То, что Кюстину не пришло в голову в Петербурге, где он молча наблюдал избиение полицейскими подсобного рабочего, теперь вдруг его поражает: почему он сам не только смотрит на происходящее безучастно, но и, больше того, одобряет своего курьера:

Надо поддерживать власть, даже когда она неправа, – убеждаю я себя, – таков дух русского правления [...] Надо ехать быстро, чтобы не ронять своего достоинства; не торопиться – значит лишиться уважения; в этой стране для пущей важности надо делать вид, будто спешешь (там же).

Что случилось. Он, Кюстин, сделался другим *физически*, потому что и когда загнанный жеребенок на его глазах надорвался, и когда мальчика грозили жестоко наказать за недогляд, пока Кюстин был внутри всей этой среды, он «не чувствовал угрызений совести». Они пришли только с физической сменой обстановки, когда он уселся за стол к бумагам и принялся

за письмо, вернувшее его во Францию. Только тогда пришло раскаяние: как я, парижанин, мог не вмешаться! Как это объяснить? Воздух, говорит он.

Покидая загнанного жеребенка и несчастного мальчика, я не чувствовал угрызений совести. Они пришли позже, когда я стал обдумывать свое поведение и особенно когда сел писать это письмо: стыд пробудил раскаяние. Как видите, человек прямо на глазах становится хуже, дыша отравленным воздухом деспотизма... Да что я говорю! В России деспотизм на троне, но тирания – везде.

Если принять в рассуждение воспитание и обстоятельства, нельзя не признать, что даже русский барин, привыкший к беззаконию и произволу, не может проявить в своем поместье более предосудительной бесчеловечности, чем я, молчаливо попустительствовавший злу.

Я, француз, считающий себя человеком добрым, гордящийся своей принадлежностью к древней культуре, оказавшись среди народа, чьи нравы я внимательно и скрупулезно изучаю, при первой же возможности проявить ненужную свирепость поддаюсь искушению; парижанин ведет себя как варвар! поистине здесь сам воздух тлетворен...

Во Франции, где с уважением относятся к жизни, даже к жизни животных, если бы мой ямщик не позаботился о том, чтобы спасти жеребенка, я велел бы остановить коляску и сам позвал бы крестьян, там я не тронулся бы в путь, пока не убедился бы, что опасность миновала: здесь я безжалостно молчал [...] Русский барин, который в приступе ярости не забил насмерть своего крепостного, заслуживает похвал, он поступил гуманно, меж тем как француз, который не вступился за жеребенка, проявил жестокость.

Я всю ночь не спал [...] (II, 58).

Почему гений места (*genius loci*), понятный в древности, забыт и человек перед ним так беззащитен? Здесь дает о себе знать привычка современной личности воображать себя абсолютной единицей, независимым индивидом. Личность не расположена догадываться, что в непривычной среде она изменится физически, станет другой или, что то же, станет как другие. Не учитывают, что дышат воздухом. Кто-то пообещал индивиду, что он нерушимый атом. Никто не предупреждает, не напоминает, что есть неопределимая сила обстоятельств (среды), которая меняет всё.

Подведем итог.

1) Ревизор, наблюдатель хотел бы видеть всё. Всё ему никогда не покажут, а если и покажут, он не увидит из-за узости зрения. То, чего наблюдатель не видит, он дополняет догадкой или *подозрением*. Показывают обычно то, что считают правильным и правом. Подозрение может доходить до убеждения в предельно или вернее *беспредельной* неправоте тех действий, которые невидимы, потому что скрываются. *Презумпция невиновности* вступает в резкий конфликт с подозрением. Ее искажение происходит, когда формально соблюдаются правовые процедуры, при том что проверяющий и наводящий порядок про себя уже признал осуждаемого виновным. Противоположное искажение происходит, когда побеждает часто встречающееся размытое мнение, что «нет в мире виноватых» и, если присмотришься, все одинаковы, нет плохих и в трудной ситуации все поведут себя якобы одинаково.

2) Наблюдатель, ревизор, следователь, дознаватель *имеет право* там, где ему не всё показано, ожидать *чего угодно* в том, что ему не показано.

3) Из-за того, что скрывающий неправые действия *невольно скрывает их и от самого себя*, как если бы их совершал не он, а кто-то другой, совершивший неправое действие *естественно и не вполне лживо отрицает это*.

Психологически с человеком, бросившим себя в стрессовую ситуацию действия, в правоте которого он не уверен, происходит аналогичное тем явлениям, когда, например, падающий со стула, ножка которого вдруг подломилась, не думает, что падение произошло с ним, а в военной ситуации раненый, особенно тяжело или смертельно, часто бывает уверен, что дурное случилось с кем-то другим. Мы вообще говорим себе «это не я, это происходит не со мной, это меня не касается» *на каждом шагу и гораздо чаще, чем сами замечаем*. Задача следствия в отношении преступника и цель исправительной системы – терпеливо довести до сведения нарушителя, что преступил право именно он. С этим связана проблема *вменяемости*.

Юридически все граждане исходно предполагаются вменяемыми. Фактически невменяемость в той или иной форме – например в форме невнятной речи, подавленного ровного тихого тона, неестественной скованности движений или в уже упомянутой более явной форме убежденного отрицания фактов, для следствия совершенно очевидных, – наблюдается *почти во всех случаях* судебного разбирательства. Судебно-медицинская экспертиза признает однако невменяемость только в случае явной патологии и раздвоения личности.

4) Демонстративный показ призван обратить внимание на одну сторону дела и тем самым скрыть другую. В действительности, конечно, в какой мере скрываемое скрывают, в такой же и обращают на него внимание. Строго запрещая посещение заключенных, например, в Шлиссельбургской крепости, полицейские власти заставили маркиза де Кюстина предполагать там что-то худшее чем на самом деле. Показ и скрывание оттягивают как мое, так и чужое внимание от неприметного, которое может оказаться или, вернее, всегда оказывается самым важным для следствия. 5) *Демонстрация благополучия права*, как например конституция СССР 1936 года, самая идеальная по тем временам в мире, или отмена смертной казни в единственной стране Европы, в России при Екатерине II, т. е. выставление заведомо очень высокого, трудноисполнимого потолка, работает как *отмена права*. Статья 128 Конституции 1936 года, постулировавшая неприкосновенность личности, жилища и тайну переписки, была из тех статей, которые уводили право в мечтательную идеальность, исключавшую самую мысль о ее внедрении. Отмена смертной казни Екатериной II *вводила* незаконную смертную казнь, потому что при запрете смертной казни уже нелогично было вводить в законодательство санкции за смерть от телесного наказания, плетьюми; таких санкций и не было, т. е. убить человека телесным наказанием было фактически разрешено. Правосудие в таком случае, по выражению Кюстина, показывают как музейный экспонат издали без разрешения прикасаться к нему. Недействующий гуманный закон поэтому хуже, чем если бы закона вообще не было.

Необходимое добавление. Бесправие, произвол возмущают и требуют немедленно исправить положение. Но так обычно бывает при взгляде со стороны. Внутри ситуации мы ведем себя иначе чем извне ее. Маркиз де Кюстин, когда сам оказывается внутри того, что его возмущает, – сопровождающий его полицейский чин жестоко ведет себя с ямщиком, – спокойно соглашается с ситуацией и только потом, когда снова смотрит на всё со стороны, видит безобразия фельдъегеря и свое собственное.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.